

олег чухонцев



Олег Григорьевич Чухонцев

и звук, и отзвук: из разных книг

*Текст предоставлен правообладателем
и звук, и отзвук: из разных книг: 2023
ISBN 9785604105740*

Аннотация

Наиболее полное на сегодняшний день собрание стихотворений и поэм Олега Чухонцева (р. 1938), составленное поэтом по авторским книгам, начиная с первой – так и не вышедшей – «Замысел» (некоторые стихи из нее вошли в последующие книги). В собрании представлены очищенные от вмешательств советской цензуры и восстановленные в первоначальном виде редакции многих стихотворений. Некоторые тексты публикуются впервые. В завершающем книгу разделе представлены лирическая проза и два эссе о поэзии. Иллюстрации Юлии Грешновой.

Содержание

Из неизданной книги «Замысел» (1960)	6
* * * («Еще туман висит над городом...»)	7
* * * («Весна. По улице прошла...»)	8
* * * («Взрыв пугливых снегирей...»)	9
* * * («Как по бору да в зелену пору...»)	11
* * * («Мы посадские, слободские...»)	12
* * * («Зажила вода и колос вызрел...»)	14
* * * («Появился как должно он с криком на свет...»)	16
* * * («Вечером на даче...»)	18
* * * («Просыпались от странных мелодий...»)	20
* * * («Ночной город...»)	22
* * * («Прихваченные изморозью лужи...»)	24
* * * («В каске желтой, час за часом...»)	25
Осажденный. 1238 (поэма)	28
«Из трех тетрадей». Книга стихов (1976)	45
Посад	46
Имя	81
Воробыиная ночь	104
Из книги «Слуховое окно» (1983)	128
Когда запекает бор	129
* * * («Я сойду на последней странице...»)	131

* * * («Не растекаться мыслию...»)	133
Прощание со старыми тетрадями,	134
Послевоенная баллада	141
* * * («Седой учитель начальных классов в пиджаке с заложенным рукавом...»)	143
Соседка	146
Семен Усуд	148
* * * («Свет мой поздний – моя проходная...»)	150
Два стихотворения	152
* * * («Черемуха из-под дождя...»)	154
Пасха на Клязьме	156
* * * («Нет ничего ужасней вырожденья!...»)	158
* * * («Пусть те, кого оставил Бог...»)	160
Повествование о Курбском	161
Кончина Ивана	163
Superego	166
Конец ознакомительного фрагмента.	170

**Олег Григорьевич
Чухонцев
и звук, и отзвук:
из разных книг**



Из неизданной книги
«Замысел» (1960)



*** * * («Еще туман
висит над городом...»)**

Еще туман висит над городом
и сто сорок из-под стрехи
молчат, покуда перед гомоном
кричат вторые петухи.
Еще скрывается за шепотом
непробудившаяся страсть,
и капля светится под желобом,
вот-вот готовая упасть.

1959

*** * * («Весна. По улице прошла...»)**

Весна. По улице прошла
подзагулявшая гармошка,
и белым цветом зацвела
в прохладном подполе картошка.
Под вечер курочка тишком
снесла яичко, а спросонок
уже гуляет петушком
неоперившийся цыпленок.

1959

*** * * («Взрыв пугливых снегирей...»)**

Взрыв пугливых снегирей,
карк ворон непуганых —
и уже свистит хорей
на снегах обугленных.
И уже издалека —
не Боян ли сокола
выпускает в облака
и на лебедь — с облака?
Крови, крови молодой!
славы, славы песенной,
соколиною страдой
на лету подрезанной!
А внизу — такая рань
ранняя, израненная,
что хоть оземь грудью грянь —
вот оно, призвание!
И такой бродильный чад
в ельнике-орешнике,
что как пьяные летят
пчелы на подснежники!
Эти талые моря,
озими зеленые,
в зарослях осокоря
гнезда оголенные —
всё — и горлицы запруд,

и промыт звонницы —
только повода и ждут,
чтобы разглаголиться.
Так звени, напоена,
радость двуединая:
молодость моя, весна —
песня лебединая.

1960

*** * * («Как по бору да в зелену пору...»)**

Как по бору да в зелену пору
с первым парнем гуляла б на пару,
всё поляны, лесные цветы;
не ходила б на Красную гору,
там не даром приметили паву,
там не зря приоделись сваты.
Там в подполье припрятаны яства,
а из дома — не выметут сора,
а уж вытурят — значит взашей:
молодая сноха — для хозяйства,
а ночная собака — для вора,
а недремлющий кот — для мышей.

1959

*** * * («Мы посадские, слободские...»)**

Мы посадские, слободские,
наши ножички заводские
ваши сумочки от Диора
чик-чирик — и адъё, мадам! —
шлет привет вам отдельный Жора,
вам и фирменным фраерам.
Мы на Курский к вам для прополки
прибываем на третьей полке
с петушинской братвой гулять,
не в ментовские рестораны
лебедей чесать, а в шалманы,
где на шухере не стоять.
Там, в распивочной на Тишинке,
где две фиксы у шустрой Нинки
тяжелей, чем жилищный пай
на двухкомнатную квартиру,
там оттянемся — не до жиру:
хлопнул беленькой — и гуляй!
А уж как мы и с чем обратно —
это в общем и так понятно,
чай не сироты, чтоб к харчам
не прибавить своей капусты,
пусть сегодня не очень густо,
завтра точно возьмем качан...

Конец 1950-х

*** * * («Зажила вода и колос вызрел...»)**

Зажила вода и колос вызрел.
Звезд мирьяды проросли в зенит.
В это полнолунье хруст как выстрел,
тишь такая, что в ушах звенит.
Берег. Под удилище – полено,
а само удилище – в песок.
Так-то, брат. И локоть на колено.
Гвоздик в зубы, взгляд на поплавок.
Вон с ведром идет знакомый дачник
и бросает камешек с моста:
– Мой коллега, вижу, неудачник.
извиняюсь, надо знать места. –
И пройдет, гремя мостками, к даче
как урок... И снова тишь да гладь...
Уж не рыбку ль золотую, старче,
ты задумал на живца поймать?
Да уж где тут, всюду ил да тина,
населся и у дальних рек,
золотая рыбка – строганина,
лес да тундра – не забудешь век.
Вот и жди... ни клёва, ни старухи.
Неподвижны поплавки светил.
Только черви в банке, только слухи.

Ты не эту сказку проходил...

1958

*** * * («Появился как должно он с криком на свет...»)**

Появился как должно он с криком на свет,
человек, не имевший ни метрик, ни лет,
не умевший ходить, не умевший писать,
человек, не умевший и слова сказать,
не сказавший ни правды, ни лжи – ничего,
появился – и всё! принимайте его!
Чтоб никто его спутать с другими не мог,
привязали к лодыжке ему номерок,
что действительно он появился на свет,
выдал *загс* за печатью ему документ.
Вот он в люльке своей объезжает квартал,
где сосульки срываются на тротуар,
где работает дворник метлой и скребком,
где стоит постовой с милицейским свистком,
а вокруг – воркование, щебет, шаги,
подрастают друзья, подрастают враги,
занимается день, и гульгулит вода,
и летят облака неизвестно куда,
и летит неизвестно куда самолет,
и бликующий свет за коляской идет,
и глядит на него, не скрывая родства,
вся природа в минуту его торжества!

*** * * («Вечером на даче...»)**

Вечером на даче
свечку засвети.
Бабочки сгорают
в пламени свечи.
Падают под ноги,
падают к ногам —
глупая доверчивость...
ну а как же нам?
А у нас — иначе,
а у нас — не так:
в гости приглашает
закадычный враг.
А глаза в глазницах —
далеко вдали —
навели на мушку,
ждут команды — пли! —
Пли! —
и плеск из рюмок.
Пли! —
в зубах икра.
Действие второе,
новая игра.
Он мне — реверансы,
я ему — поклон.
Шпарю как оратор

на магнитофон.

Близится развязка:

– ну-ка по одной!

Вот он видит крылья

за моей спиной.

О глядит задумчиво –

грудью на столе –

как, сгорая, корчится

спичка в хрустале.

Спрашивай!

выспрашивай!

принимай всерьез!

Кто огонь,

кто бабочка –

еще вопрос!

1958

*** * * («Просыпались от странных мелодий...»)**

Просыпались от странных мелодий:
человек на фаготе играет,
а играет он так на фаготе,
как скрипучую дверь отворяет,
не спеша, постепенно, не сразу
он мычит музыкальную фразу.
Где мотив? композиция? тема?
вверх и вниз. вниз и вверх. нота к ноте.
капля к капле. по темени. в темя.
он гудит, он дудит на фаготе.
А соседи его убеждали,
а жильцы его предупреждали,
а жильцы и соседи не спали,
по инстанциям жалобы слали,
объясняя всю суть по порядку,
чтоб призвать гражданина к порядку,
чтобы выжить из дома, со света
тунеядца с приветом и ферта...
Но однажды во время концерта
увидали соседи соседа.
Не читалась с листа партитура,
а творилась безумное что-то,
и как буря была увертюра,

но слышна была каждая нота —
для кларнета, валторны, тромбона,
саксофона, корнет-а-пистона,
для гобоя, рояля, свирели,
контрабаса и виолончели,
для фагота, еще для кого-то,
кто уж вовсе не наша забота.
Пели скрипки, сойдясь в середину,
вздулись жилы у баритона,
зал подался вперед и — отхлынув —
зазвучал на манер камертона.
И повеяло чем-то забытым,
чем-то давним, до времени скрытым...
Вспоминали: живет за стеною,
ну хотя б обзавелся женою,
а фагот, он такой, понимаешь,
для любимой на нем не сыграешь...
Плыл мажор озорной и могучий
и плевать, что не слышно фагота! —
в этой сшибке и пенье созвучий
был и пафос его, и работа.
А когда оборвется звучанье,
есть секунды победы и муки:
это зал разразится молчаньем
и опешат счастливые руки!

*** * * («Ночной город...»)**

Ночной город,
молчаливый и мокрый;
на остановке у края лужи –
запоздалый троллейбус, похожий на аквариум,
от переднего колеса – волны,
а задним – берегись – обдаст!

Ночной город.
уже погасили огни
стрелы подъемных кранов,
уже после гимна смолкли
оглохшие за день рупора.

Ночной город.
есть в нем свои открытия,
когда в подъезде под лестницей
торопливо целуются,
когда на безлюдной улице
читают на память стихи.

Ночной город,
прости за бессвязное бормотанье.
я бы тоже хотел
так уметь молчать,
как курсант у твоего мавзолея.
я бы тоже хотел
три раза услышать сердце
в промежутках

между
каждым
ударом
курантов...

1959

*** * * («Прихваченные изморозью лужи...»)**

Прихваченные изморозью лужи.
Еще дождит. А скоро и зима.
А скоро снег. Ты знаешь это лучше.
Наверное, ты ждешь его сама.
Обшарпанный подъезд. Навес у дома.
И в шашечку такси из полутьмы.
Всё это так забыто. Так знакомо.
И двое незнакомых — это мы.
Две тени, не очерченные четко.
Два профиля, размытых на стене.
Намокший плащ. Торчащая прическа.
Щека для поцелуя — это мне.
К чему слова. Достаточно и жеста.
Что было или не было — прошло.
Тебя ли выкликают из подъезда,
меня ли ждет зеленое стекло?..
Врываясь в свет, накрапывает с неба
последний дождь, смывает след колес.
А скоро снег. А скоро тучи снега...
Всё к лучшему, как говорил Панглос.

*** * * («В каске желтой,
час за часом...»)**

В каске желтой, час за часом,
в шубе черной, день за днем,
он ходил, дозорным глазом
озирая всё кругом.

Он ходил и думу думал,
неуставно дым пускал
и винтовку книзу дулом
на одном плече таскал.

А внизу теснилась школа,
бестолково шел урок.

Почему же бестолково?

Бестолочам невдомек.

Шел урок, учитель сонный
раздраженно мел крошил,
а в окне как заведенный —
он кружил, кружил, кружил.

Видно было и воронам,
да не ведал педсовет,
что над каждым охламоном
выше есть авторитет.

И чего он, в каске медной
верхогляд и свинопас,
небожитель неприметный,

почему он мучит нас?
Потому что нет приятней,
чем окинуть с высоты
фабрики и голубятни
и капустные листья,
потому что в окулярах
необыкновенный мир:
жар стреляет в самоварах
и потрескивает тир.
Там весь мир как на ладони:
и вдали аэроплан,
и коза на стадионе,
и кинотеатр «Вулкан»,
и на штрипках шаровары,
и в хлеву любая клеть,
а пожары так пожары —
есть на что и посмотреть,
и сады, сады без счета,
и вокруг — во весь размах —
город с птичьего полета
с караульным в небесах!..
Может быть, всё дело в этом,
в этом, а ни в чем ином,
и не стал бы я поэтом,
не маячь он за окном,
ведь оттуда надо мною
вспыхнула моя звезда!
Жизнью, памятью, судьбою
всё тянусь еще туда.

1960

Осажденный. 1238 (поэма)

1

За лесами за зимними —
ни огня, ни жилья.
Глянь озерами синими,
выйди, радость моя!
Вечно песня не вовремя.
Хочешь, я подпою?
Из огня да и в полымя,
а не то — в полыню.
Не по мерке свобода нам,
нам, в чужие края
занесенным, запроданным,
вечна воля твоя.
За борами за дивными
тишь такая — аж звон.
Грянь ручьями да льдинами
на распутии времен.
Пусть кручины изгладятся,
как морщины с лица.
Встань же, радость-красавица,
супротив молодца!

.....

*Развевается на ветру волос.
Наливается поутру колос.
Подымись с крыльца на забрало.
Помолись за отца и за брата.
А мы тоже не бьем баклуши,
А и пьем-то мы не по чину,
Нальем первый ковш да осушим
Да приступим к зачину.*

2

Базарный день на площади:
возы,

возы,

возы,

купцы, земяне, лошади,
аршины да весы.

Горят румянцы девичьи
и по плечам платки.

Проходят шубы беличьи,
худые армяки.

Всё хваты да работники
и речью не глумцы:
и кузнецы, и плотники,
и златокузнецы.

Кричат товары хитрые,

играет бирюза,
а бусы малахитовые –
разбегись глаза!
– Берешь сережки суженой?
– Берем! – и руку в бок
да топ колодкой суженной,
аж побелел сапог.
Не в Киеве,
не в Суздале,
а посреди Торжка
не отлетел бы с удали
каблук от сапожка!

3

Над городом,
над гомоном
кабацкий смех и плач.
Туда ходили гоголем,
оттуда – окарачь.
Уважишь пивом-брагою –
и воздадим вином.
Полы под пьяной братией
ходят ходуном.
Кончане закуражатся,
нальют – не донесут.

Ой, головы закружатся!
Ой, ноги не спасут!
Гуляет свет по маковке.
Гуляет гульнем голь.
– Посадского – по матушке!
– А кто над ним? – Изволь!
Вчера свое не допили,
так уж теперь возьми!
А завтра ляжем во поле
грешными костями.

Что ты ходишь враскосяк,
присядь к другу.
Ох, силен синяк
под пьяную руку!
А не стоишь синяка –
ступай к Богу!
Ой, земля зыбка
под пьяную ногу!

.....

*И мы подсядем к коржикю,
Подсядем, а засим
Нальем еще по ковшику,
Выпьем да заку-сим,
Нам сказ держать,
Нам песни петь,
Нам надо голову иметь.*

Теплым-теплый, без шапки, без денег
выходил Егорка-весельник.

В домотканых портках да в опорках
выходил прохладиться Егорка.

Рассыпал он присловицы горохом,
знать, недаром слыл первым скоморохом.

Шутка шуткой, а правда-то смекается.

Ходит, чешет язык, насмехается,
ходит, чешет язык, насмехается,
на ворота именитые сморкается.

Говорит что говорят,
ну да мало ль говорят?

Мол, посадник — молодец,
праведник-сусальник.

В каждой горнице малец —
вылитый посадник.

Говорит что говорят,
мол, напрасно говорят.

У попа всего приход —
попадья с поповной,
а и тот дает приплод —
борова с попоной.

Слепнет курица. День смеркается.

Шутка шуткой, а правда-то смекается.

Тут и взяли шутника под локотки
по словечку сердобольного посадника,
взяли под руки, задрали портки
да и выбили всю пыль из охальника!

.....

– Ой ты ласка моя,
Складень в три образка.
Ой ты сказка моя,
Сказка-присказка.
Что ты, присказка,
Киснешь зелено?
И не высказать.
И не велено.

– Чем начать мое слово,
Чем начать?
То ль в молчанку играть,
То ль кричать.
Грянет колокол чуть свет,
Крикнет кочет.
Начинать-то начнешь,
Да чем кончишь?

не бой кулачный: чья взяла? —
с заутрени звонарь сполошный
раскачивал колокола.
Качал, оглохши от ударов.
Шли веси на тревожный зов.
Всполох был шире всех базаров,
мощнее медных голосов.
Кипи, молчанье гробовое!
Мягись, народная беда!
...Идет нечистый с татарвою.
Грядет несметная Орда...

.....

У Батыя, у сучьего сына,
сорок жен молодых.
У Батыя, у сучьего сына,
тьма коней вороных.
У Батыя, у сучьего сына,
туча сабель кривых.
Я не знаю, что лучше: сгинуть
аль остаться в живых?

.....

Ой не сладко от горькой,
и не сладко от сладкой —
то боярин с веревкой,
то татарин с удавкой.
Слиплись свечи в огарки,
а горели высоко.
То ль на ноги — ногавки,
то ль на череп — сокол.

Веселы вы, денечки,
аж охрипли от крику.
То ли выкуп – на бочку,
то ли голову – на пику.

6

Ох, не ровен час,
смолкла горлица.
Шестикрылец за горлицей гонится.
Ох, черна тоска
в белой горнице.
Сам Иванка-посадник горбом горбится.
Не братина ходит по кругу, не брага из чана,
думу думает купеческая братчина.
Бородатые да носатые,
крепколобые, крепкозадые.
Беда бороде:
смуты в го-ро-де.
Что ты хмуришься?
Что ты прячешься?
Не откупишься.
Не отплатишься.
И мошной плати,
и женой плати,
а запросят недоимку –

головой плати!

Не братина ходит по кругу, не брага из чана,
хорохорится купеческая братчина.

Православные, честные,
кунья шуба, волчья сыть.

– На'б тощиться для Батыя,
ручку им позолотить.

Ох, да горлица не слышна.

Ох, да в горнице тишина.

Засопели, как засовы, носы.

Золотишко высыпай на весы.

Заскрипели лавки, как на помин.

Встал посадник над глыбами спин.

Он глазами полоснул по глазам;
бородою он кивнул бородам.

– Если с женами больше не жить –
не возропщем.

– Если головы надо сложить –
не возропщем.

– Но поди затяни поясок,
если наг с головы и до ног,
ай удавка честному народу –
лучше в воду!

Расползаются круги по воде.

Закивала борода бороде.

– Прав Иванка.

– Будем локти кусать.

И посадник рассудил:

– Отказать!

– До последнего
будем стоять.

7

А и что теперь городить огород,
многодумный князь, собирай народ.
Развязав мошну у ночных ворот,
подались купцы в мощный Новгород.
А ночи тихи,
тише тихого.
Из воды сухим?
Лихо вам?
Сомкнешь уста –
не сомкнешь веки.
Глядь, с утра в ворота –
сбеги, сбеги.
Ни хоругвь не спасет, ни собор,
если сабля твоя не востра.
Владимир – горящий костер.
Рязань – круг от костра.
С поля туча ползет с голосами.
А Князь-Новгород глух за лесами.
А и что теперь городить огород.
Ай, Иванка, Иванка, ополчай народ!
Молчуны, говоруны, бояре, смерды,

мы у жизни не равны.

Равны у смерти.

Сеча гирькою по темечку – как мачеха нежна,
и отдал бы башку, да самому нужна.

Чем заплатим, гадать не берусь,
головою заплатим аль боком.

Не за князя стоим,
а за Русь!

Не попом укрепились,
а Богом!

.....

Если жизнь одна,

То и смерть одна.

Если ковши пустой,

Наливай вина.

Черный ворон пролетит,

Бросит перышко

В снег пуховый

На удел роковой.

Опрокинем-ка третью до доньшика,

А потом – по губам рукавом.

8

Что молодцу слава посмертная,
да знать бы: без сраму живу.

Последняя ночка. Последняя.
Жалей молодую жену.
Подумать, и года не прожили,
а сразу слюбились на жизнь.
И вот уж под Матерью Божией,
под Спасом – во гробы ложись.
А были денечки не промахи.
Не вам ли, медовым, пришлось
ослепнуть от белой черемухи,
под ливнем промокнуть насквозь.
Сон короткий, он намечается
под утро, а где тут до сна.
Ни ветра, а ветка качается.
Не спит молодая жена.

9

Вои – в сборе.
Кони – в сбруе.
Помолись в соборе
да в землю сырую.
Дьяки – в рясах.
Попы – в ризах.
Спаси, Спасе,
исход близок.
Хоругви, свечи.

По коже мороз, поди.
Постоим на сече,
Господи, Господи!
Голубь без голуби –
голубь сирий.
Господи, Господи,
дай силы!
Поганые с поля
тыном обстали.
Смерть ли, неволя –
стой на забрале.
Муки ли крестные,
други ль в крови, –
Мать Небесная,
благослови!

10

Стрелы ли под небо взмыли,
головы ль наземь упали,
звон ли расходится, или
плат расстилают печали –
зова не слышно Зовущего,
да и откликнуться нечем,
кроме как клетота, рвущего
сердце и пьющего печень...

.....
.....
.....
.....

11

Не прощу, не прощу, не прощу.
Не помочь, не помочь вам, кончане.
Пращник камень загнал в прашу,
лучник выбрал стрелу в колчане.
Не прощу, не прощу, не прощу,
а прощу – так по смерти приснятся:
тетивы одноглазый прищур
и на палице сжатые пальцы.
Не прощу, не прощу, не прощу,
до недоброго срока запомню:
не сидеть на престоле прыщу,
не писать на Руси законы!
Трубы грянут – голов не снести.
Трупы лягут – топчите конями!
Отомстим, отомстим, отомстим.
Куликовская сеча – за нами!

Лают лисы, воют волки, кружит галенье.
Две недели отбивается Торжок.
Ой вы, светы мои, близкие и дальние.
Губы стынут. На губах — снежок.
В стенах стрелы, в стенах стоны, стены низкие.
На ордынца лей кипящую смолу!
Ой вы, светы мои, дальние и близкие,
бьет таран, и татарье — в дыру.
Коли старость, коли молодость жива еще,
стой до хрипа, стой у смерти на краю.
Здесь я, с вами, в осажденном и пылающем
на избище, зубы сжав, стою.
Рубят старых, режут малых, крики в воздухе.
Дым стоит, и пух летает во дворах.
Едет знамя на коне девятихвостое,
едет знамя о пяти углах.
— Вот и срок пришел. Расстанемся, как водится.
— Прощевай, талань. Прощай, лихой Торжок.
Ты прости-прощай, несуженая вольница.
Губы стынут. На губах — снежок...

Полыхали пожары,
не стихали пять дней.
Уводили татары
за Волгу коней.
Кони ржали в трясиных,
был разлив на носу.
Как вдова голосила
неясыть в лесу.
Где Егорка безотчий?
Где Иванка-отец?
Ворон выклевал очи,
меч в золе кладенец.
За семью ли веками
от низин да болот
топь испарит облаками
и татарник взойдет.
Над забытым колодцем,
над зацветшей водой
встань обугленным солнцем,
крестный полдень мой!

Скачи иноходцем за поле,
синицей лети за моря,
моя молодая неволя,

плененная песня моя.

Осталась.

Склонилась и плачешь.

Над бурой крапивой стоишь.

Скачи!

А куда ты ускачешь?

Лети!

А куда улетишь?

25 декабря 1959 – 6 января 1960

«Из трех тетрадей».
Книга стихов (1976)



Посад

*** * * («Под вечер, только сняли валенки...»)**

Под вечер, только сняли валенки,
мороз устроил чертовщину –
скрипел, как сторож на завалинке,
сопел, почесывая спину,
он знал: когда он не поленится,
а хватит оземь рукавицы,
в сарае вырастет поленница,
и в доме печка задымится,
и уголек в золу закатится,
и, чтобы возместить пропажу,
у печки старина усядется
разматывать слепую пряжу,
и осмелевшие от голода
на чердаке проснутся крысы,
которые спаслись от холода
лишь потому, что снег на крыше,
и белым-белая беспутица
в метелице угомонится,
и если лошадь не заблудится,
то заплутается возница,
и то не сирины стеклянные

засвищут из морозной рощи,
а стрикулисты бесталанные,
а может, их живые мощи.

.....

Так сон, не зная сам, что сбудется,
прислушивался из постели,
как свистуны морозной улицей
брели куда глаза глядели...

1959

Илья

То ли вёдро, то ли льет как из ведра.
Петухи прокукарекали. Пора!
Время делу, хватит дрыхнуть на боку!
Взял бы палицу – да сдвинуть не могу.
Двадцать лет уже я сиднем сижу.
Двадцать лет уже я лежнем лежу.
А еще десять лет мне сидеть,
десять лет мне на дорогу глядеть.
Дело будет, еще рано помирать.
Три дороги мне еще выбирать.
А покамест ни седла, ни коня –
только песни про запас у меня.
Сколько песен у родной стороны –
то ли свадьба, то ли похороны:

гляну вправо — величая поют,
гляну влево — отпевая поют.
Черный бор. Волчья степь. Воля вольная.
Ой ты, родина моя! Ой ты, боль моя!
Вот гляжу я с покаянною улыбкою:
не покажутся ль калики за калиткою?

1960

*** * * («Зима. Мороз. Трусит кобылка...»)**

Зима. Мороз. Трусит кобылка
по снегу, и — красней зари —
на теплый злак из-под копыта
выпархивают снегири.
Зима. Мороз. Месить бы тесто,
топить бы печь — да недосуг:
вождь похоронного оркестра
вставляет костяной мундштук.
И бабы, закрывая трубы,
спешат от жаркого труда
туда, где индевеют шубы,
туда, где трудится труба,
туда, где всё до слез знакомо:
слова и взгляды из-под век,
стенокардия, и саркома,
и долгий день, и краткий век.

О скорбный марш – один и тот же
среди свадеб, войн и перемен, –
стучи, стучи в свиную кожу,
работай легкими, Шопен!
Смолкает разговор в народе.
Венки выносят из дверей...
Писать бы лучше о природе,
ну хоть про тех же снегирей.

1960

*** * * («На камешке, у бережка...»)**

На камешке, у бережка
сидит, бубнит под нос.
– Что мелешь ты, Емелюшка?
– Да ничего... Овес...
Сидит да сучит бороду.
Столетия идут.
А бабы выйдут по воду –
с три короба наврут.
А слухи в каждом коробе,
что шут его крестил:
поймал-де щуку в проруби,
поймал, да отпустил.
А щука-де ученая –
с Емелей говорит.

О чем? Тут дело темное,
не зря, видать, сидит.
А смолоду, а с голоду –
холера да война.
– А кто же мутит воду-то?
– А всё она, она.
По щучьему велению –
ступайте в печь, дрова!
По щучьему велению –
зубастые слова!
У вас – волочат волоком,
у нас – наоборот:
летит ковер под облаком,
крестьянский самолет.
У вас – указ, не иначе,
указ везет гонец.
А мы – на печке сидючи
прибудем во дворец.
А в царстве замечается:
дела идут не так.
А в царстве заручаются –
сиди себе, дурак.
А он на трон не зарится,
живет да хлеб жует.
А щука – слышишь? – жарится.
А сказке – свой черед.

*** * * («Этот город деревянный на реке...»)**

Этот город деревянный на реке
словно палец безымянный на руке;
пусть в поречье каждый взгорок мне знаком
как пять пальцев, – а колечко на одном!
Эко чудо – пахнет лесом тротуар,
пахнет тесом палисадник и амбар;
на болотах, где не выстоит гранит,
деревянное отечество стоит.
И представишь: так же сложится судьба,
как из бревен деревянная изба;
год по году – не пером, так топором –
вот и стены, вот и ставни, вот и дом.
Стой-постой, да слушай стужу из окон,
да поленья знай подбрасывай в огонь;
ну а окна запотеют от тепла –
слава Богу! Лишь бы крыша не текла!

1965

Георгики

I

Капуста в Павловском Посаде.

Капуста! – и бело в глазах:

на взбеленившемся базаре,

и на весах, и на возах.

Чуть свет затопит мама печку,

и рукава я засучу,

да наточу на камне сечку,

да сечкой в ящик застучу.

Как никогда легко и ясно,

как будто в первый раз люблю:

чисто-чисто,

часто-часто,

мелко-мелко

изрублю.

О, та капуста из раймага

того гляди сведет с ума:

бела как белая бумага,

бела как ранняя зима.

Уходит боль... Не оттого ли

стоишь как вкопанный в дверях:

горят, горят огнем мозоли,

стучат, стучат во всех дворах.
Под утро иней ляжет густо
на крыши, взбудоражит сны.
Скрипит, скрипит, как снег, капуста,
и снег скрипит, как кочаны...

1960

II

В воскресный день в начале сентября,
когда недели две до листопада,
весь город валит валом на поля,
в руке мешок, а на плече лопата.
Вот здесь, вблизи проселочных дорог,
невдалеке от заводских окраин –
дави на штык да жми на черенок,
поскольку ты кормилец и хозяин.
Копай, копай, да слушай стук лопат,
да думай, думай – тайно или явно:
Москва слезам не верит – это факт,
а уж районный город – и подавно.
Он лупит завидующие глаза.
Он тянется своей большой ложкой.
Он, может быть, и верит в чудеса,
но прежде запасается картошкой.
Она прекрасна, как сама земля

прекрасна. Отчего ж тогда не рада
твоя душа? Какая ей досада
на этот день в начале сентября?

1961

III

У нас живут на огороды.
Наш первый праздник – первый сбор.
Как бы на торжище природы,
таскают овощи во двор.
Как будто курица-несушка
кудахчет по двору с яйцом,
гремит дубовая кадушка
с заплесневелым огурцом.
Не знатоку чесать в затылке,
но дело ль, числясь знатоком,
баклуши бить, когда в парилке
сшибают плесень кипятком?
И вот сосед снимает китель,
фуражку вешает на гвоздь.
Он, огородник и любитель,
почуял страсть и даже злость.
О, как ему осточертело –
дежурка... граждане... народ...
Вот огурцы – другое дело.

Деревня... Детство... Огород...
Соли, соли, пока не поздно,
смурную душу отводи,
гляди не грозно, а серьезно
и даже весело гляди.
Чтобы никто не взял на пушку
ни за понюшку табака,
соли да камень на кадушку
клади – тяжелый, как судьба!

1964

*** * * («За амбаром, за сквозным забором...»)**

За амбаром, за сквозным забором
на тесовой струганой скамье
говорим неспешным разговором
со старухой о житье-бытье.
День-деньской она всё шьет да порет,
моет пол да сажит огород
и за мукой мученской не помнит,
сколько лет спокойной жизни ждет.
Да и что ей, бабе деревенской,
что ей помнить, темной да босой?
Николай-угодник, не побрезгуй,
одеди дешевой колбасой!
Эх, недоля – улица да поле! –

по-крестьянски окрестила лоб
и сложила руки на подоле:
– Мне б теперь попариться да в гроб.
Не забуду: пахло свежим тесом
и на ребра покрасневших крыш
падал стриж и прямо перед носом
круто взмыл, распарывая тишь.
И томились в сумерках задворки,
и горел как проклятый закат,
и глядел невидящий и долгий
взгляд ее... Ее потухший взгляд...

1965

По воду

Дня не видно за летней страдою.
Мама знает – не буду упрячиться.
– Ты сходил бы, сынок, за водою,
а то вовремя мне не управиться.
Я пойду за палатку, за церковь,
буду ведра на дужках раскачивать,
а потом зацеплю на зацепку,
стану медленно ворот раскручивать.
Вот кручу я, а сам вспоминаю
всё о ней да о ней – на беду мою,
и пока я ведро подымаю,

обо всем, обо всем передумаю.
Изменить ничего не изменишь,
крутишь ручку – она уже теплая.
Ах, колодец, тебя не измеришь –
темен сруб, как душа ее темная.
Подымать – это надо привычку.
Расплескаешь... А к слову заметится:
не поймать, если выпустишь, ручку –
как ошпаренная завертится.
Я ведро подымаю руками,
а бока запотевшие, потные.
Я к ведру прилипаю губами –
словно губы ее: холодные.
Ходит в горле кадык, льет за ворот.
Рукавом – не подумайте: плачу я –
утираюсь и снова за ворот,
жму на ручку – а ручка горячая.
Я спешу: мама ждет не дождется,
а ведро так и ходит по проводу,
так и бьется о стенки колодца!
– Как за смертью слать тебя по воду.

1960

*** * * («Уходим – разно или розно...»)**

Уходим – разно или розно.

Уйдем — и не на что пенять.
В конце концов, не так уж поздно
простить, хотя и не понять.
И не понять... И только грустно
свербит октябрь, и потому —
яснее даль, темнее русло,
а выйду — в листьях потону.
О шелест осени прощальный,
не я в лесу, а лес во мне —
и плеск речной, и плес песчаный,
и камни на песчаном дне.
Набит язык, и глаз наметан.
Любовь моя, тебя ль судить?
Не то чтоб словом, а намеком
боюсь тебя разбередить...

1960

*** * * («Класть ли шпалы, копать ли землю...»)**

Класть ли шпалы, копать ли землю
хоть несладко, да не впервые.
Вот и выдалось воскресенье,
о плечистая дева Мария.
В рельсы вмерз аккуратный домик
в стороне от транзитных линий.
Хлопнешь дверью — как на ладони

водокачка да острый иней.
В полушубке, сидящем косо,
в черных чесанках, сбитых набок,
покрасневшая от мороза,
волочишь ты мужичий навик.
Ты приходишь в пару из стужи,
в белом облаке довоенном —
вот он, дом: ни отца, ни мужа,
только снимки — в упор — по стенам.
В жадном взгляде, в святом упрямстве,
в складках рта, где легла забота —
и нелегкое постоянство,
и неженская та работа.
По привычке хоть что-то делать
и пошила, и постирала.
Вот и нечего больше делать.
Постелила... Постояла...
Руку вытянешь — никого там.
Закричала бы что есть мочи!
...Бьет прожектор по синим стеклам.
Мелко вздрагивает вагончик.
Притерпелось — и не изменишь,
под соседний стук засыпаешь
и куда-то всё едешь, едешь,
а куда — и сама не знаешь.

*** * * («Непостоянная погода...»)**

Непостоянная погода –
то заморозки, то жара –
как непосильная свобода
меня преследует с утра.
И то сказать: ложусь я поздно,
встаю с тяжелой головой
и грустно слушаю, как грозно
гремит прибой береговой.
И грустно думаю... Когда-то,
возможно, что еще вчера,
росла сосна... Теперь опять
растут на пне среди двора.
К чему бы эта чертовщина?
К разладу? К осени? К зиме?
Еще не умер – годовщина
со дня кончины на уме.
И на душе темно от мути,
и смутно помнится мечта
вздремнуть в бревенчатом уюте
на печке, теплой от кота.
Куда хватил! Чиновник бедный,
в кругу своих чиновных дел
томимый скукой кабинетной,
запечных сказок захотел?

Так вот она, твоя морока,
твоя дорога, дуралей:
ищи, как говорится, Бога
в себе самом, да слезы лей,
да простодушно жди у моря
погоды с первым комаром,
да мыкай счастье или горе
с терпением, равно и с добром.
А если дождь без передышки,
то кто же в этом виноват?
Едва забудешься – все шишки
тебе на голову летят.

1964

*** * * («Начальник милиции
вышел в отставку...»)**

Начальник милиции вышел в отставку.
Как после болезни идет на поправку:
пьет с ложечки, смотрит семейные фото,
пока не осият хандра и дремота.
Вот, поднятый гимном, едва не спросонок
он шлепает в белых казенных кальсонах.
Потом, не по букве служебной науки,
на них надевает гражданские брюки.
Потом, расправляя за поясом складки,

на воздух выходит. Глядит: всё в порядке.
Вот, чиркая спичкой, садится на лавку.
Он здесь размышляет. Он вышел в отставку.
Весомые даты... Высокие вехи...
Висят в гардеробе бывшие доспехи.
Но жизнь прожита — ни почета, ни славы,
лишь хваткая память: статьи да облавы,
конспекты основ да разносы в дежурке,
да злые окурки, да шнур в штукатурке.
А жил он, по совести, не без приварка,
закону служил, как овчар и овчарка,
да боком выходят его аппетиты:
и овцы не целы, и волки не сыты.
Ну хватит! — он в лавку воткнул папиросу.
Чего рассуждать! — он берется за прозу,
за тяпку берется — окучивать грядки.
— Как жизнь? — говорю.
— Ничего. Всё в порядке.

1961

Попугай

Мой удел невелик. Полагаю,
мне не слышать медовых речей.
Лучше я заведу попугая,
благо стоит он тридцать рублей.

Обучу его разным наукам.
Научу его всяким словам.
На правах человека и друга
из него человека создам.
Корабли от Земли улетают.
Но вселенская бездна мертва,
если здесь, на Земле, не хватает
дорогого для нас существа.
Друг предаст, а невеста разлюбит,
отойдет торжествующий враг,
и тогда среди ночи разбудит
вдохновенное слово:
– Дур-рак!
Что ж, сердись, если можешь сердиться,
да грошовой едой попрекай.
Бог ты мой, да ведь это же птица,
одержимая тварь – попугай!
Близоруко взгляну и увижу:
это он, заведенный с утра,
подарил мне горячую крышу
и четыре холодных угла.
Так кричи над разбуженным бытом,
постигай доброту по складам.
Я тебя, дураля, не выдам.
Я тебя, дурака, не продам.

Дельвиг

*Из трубки я выдул сгоревший табак,
Вздохнул и на брови надвинул колпак.*

А. Дельвиг

В табачном дыму, в полуночной тоске
сидит он с погасшею трубкой в руке.
Смиренный пропойца, набитый байбак,
сидит, выдувая сгоревший табак.
Прекрасное время – ни дел, ни забот,
петух, слава Богу, еще не клюет.
Друзья? Им пока не пришел еще срок –
трястись по ухабам казенных дорог.
Любовь? Ей пока не гремел бубенец,
с поминок супруга – опять под венец.
Век минет, и даром его не труди,
ведь страшно подумать, что ждет впереди.
И честь вымирает, как парусный флот,
и рыба в каналах вверх брюхом гниет.
Жизнь канет, и даром себя не морочь.
А ночь повторяется – каждую ночь!
Прекрасное время! Питух и байбак,
я тоже надвину дурацкий колпак,
подсяду с набитою трубкой к окну
и сам не замечу, как тихо вздохну.
Творец, ты бессмертный огонь сотворил:

он выкурил трубку, а я закурил.
За что же над нами два века подряд
в ночах обреченные звезды горят?
Зачем же над нами до самой зари
в ночах обреченно горят фонари?
Сидит мой двойник в полуночной тоске.
Холодная трубка в холодной руке.
И рад бы стараться – да нечем помочь,
уж больно долга петербургская ночь.

1962

*** * * («В полночь петух на деревне...»)**

В полночь петух на деревне
кричал, и в соседних дворах
собаки зашлись, и деревья,
обстав, скрежетали впотмах.
И желуди шлепались оземь,
шурша в прошлогодней листве
как мыши, и шастала осень,
с которой я в дальнем родстве.
Я понял: погода ломалась,
накатывался перелом,
когда топором вырубалось
всё то, что писалось пером;
когда отсыревшая спичка

от медленного сквозняка
шипела и фыркала вспышка,
как кошка во тьме чердака.
И я, ослепленный доверьем,
не ведал, что мне на роду,
но пристально слушал деревья,
уоставив глаза в темноту...

1963

*** * * («Еще темны леса, еще тенисты кроны...»)**

Еще темны леса, еще тенисты кроны,
еще не подступил октябрь к календарю,
но если красен клен, а лес стоит зеленый,
— Гори, лесной огонь! — я говорю.
А он, лесной огонь, до срока затаится,
он в рощу убежит, чтоб схоронить пожар,
но если красен клен — и роща загорится
и засвистит, как тульский самовар.
Гори, лесной огонь, багровый, рыжий, алый,
свисти в свое дупло тоской берестяной.
Не надо ничего — ни денег мне, ни славы,
покуда ты горишь передо мной.
У нас одна душа в сквозном и скудном мире,
и дом у нас один — ни крыши, ни угла.
Гори, лесной огонь, лети на все четыре

и падай на спаленные крыла!

1963

*** * * («Гибрид пекарни с колокольной...»)**

Гибрид пекарни с колокольной,
завод, где плоть перегорает,
трубою четырехугольной
седьмое небо подпирает.

А отдаленнее и ниже,
вокруг хозяйства заводского —
прах, расфасованный по нишам
в стенах монастыря Донского.

Я, разводя кусты руками,
брожу здесь утром спозаранок,
где урны белыми рядами
глядят на мир из темных рамок.
Глядят глазами тайной тайных,
ведут торжественной строкою
от фотографий моментальных
к монументальному покою.

А мне — и памяти не надо,
мое со мной, и тем пристрастней
гляжу, не отрывая взгляда,
с улыбкой, может быть, напрасной.
Что смерть? Мне выход не заказан.

Когда черед придет за мною,
перед живыми я обязан
лежать в земле и стать землею.
Она опять придаст мне силы,
я вскину ствол наизготовье,
ветлою встану из могилы
у собственного изголовья.
А им — ничем не стать отныне:
ни земляницей, ни ветлою.
Их обособила гордыня,
подняв свой пепел над землею.
Ах, мальчик, что он понимает,
когда, захваченный игрою,
их простодушно поливает
водопроводною водою?

1963

*** * * («Когда бомбили Мюнхен и предместья...»)**

Когда бомбили Мюнхен и предместья,
засыпав город щебнем и золой,
когда проклятья и моления вместе
слились над обезумевшей землей
в едином вопле к Богу или в Бога,
в зверинце, на активной полосе,
сошли с ума и умерли от шока

двенадцать низкорослых шимпанзе.
Как некогда, воспрянувши из гроба,
Сын Человеческий приял небесный сан,
так в смерти шимпанзе воскрес бонобо –
разумный вид – и высший – обезьян.
О истина, темно твое служенье,
покуда ты сомнительным родством
пытаешь на разрыв и растяжение
и объявляешь высшим существом.
И если я под страшным подозреньем –
отныне до неведомого дня, –
прошу тебя, карай меня презреньем,
но только не испытывай меня.

1963

*** * * («Что там? Босой и сонный,
выберусь из постели...»)**

Н. Н. Вильмонт

Что там? Босой и сонный, выберусь из постели,
дверь распахнув, услышу, как на дворе светает:
это весенний гомон – на лето прилетели,
это осенний гогот – на зиму улетают.
Круг завершен, и снова боль моя так далёка,
что за седьмою далью кажется снова близкой,

и на равнине русской так же темна дорога,
как от стены Китайской и до стены Берлинской.
Вот я опять вернулся, а ничего не понял.
Боль моя, неужели я ничего не значу,
а как последний олух всё позабыл, что помнил,
то ли смеюсь от горя, то ли от счастья плачу?
Бог мой, какая малость: скрипнула половица,
крикнул петух с нашествия, шлепнулась оземь капля.
Это моя удача клювом ко мне стучится,
это с седьмого неба наземь спустилась цапля.
Вот уже песня в горле высохла, как чернила,
значит, другая повесть ждет своего сказанья.
Снова тоска пространства птиц подымает с Нила,
снова над полем брезжит призрачный дым скитанья...

1964

*** * * («Как в сундуке двойное дно...»)**

Как в сундуке двойное дно,
так в слове скрыта подоплека,
когда подумаешь одно,
а выйдет новая морока.
Не потому, что дождь из туч
садит, как из водопровода,
а потому, что невезуч,
вздыхнешь: – Хорошая погода.

Глядь, попадешь впросак опять,
дурнушке скажешь: – Ты прекрасна, –
а уж потом не расхлебать
семейной каши – и напрасно.
Я потрясен – какой разброд,
я с толку сбит – какие толки:
а вдруг весь мир наоборот
идет от некой оговорки?
Ведь и пророки от наук
до несусветных истин падки:
а вдруг всё сущее вокруг –
предмет нелепой опечатки?
Как знать! Не так ли сквозь туман
всё видишь двойственно и зыбко:
а ну как жизнь – самообман,
неустраняемая ошибка?

1965

*** * * («Я не знаю, как ночь коротаю...»)**

Я не знаю, как ночь коротаю,
хоть убейте, понять не могу:
лишь руками взмахну – и взлетаю,
и летаю – на правом боку.
Бестелесный как ангел небесный,
я над бездной парить не боюсь,

потому я так легок над бездной,
что бессмертен, пока не проснусь.
А проснусь – снег за окнами валит,
я на койке лежу, как лежал.
Котелок мой горяч, да не варит:
неужели я ночью летал?
Если так, значит, чудо возможно,
значит, можно ни свет ни заря
ощутить, как земля осторожно
убывает в канун января.
Стоит только мозгами раскинуть
и, покуда от сна не восстал,
вскинуть веки и руки раскинуть –
и летишь, как в полночь летал.

1964

*** * * («Что делать мне, говоруну...»)**

Что делать мне, говоруну,
когда мне дома не сидится,
когда проворная синица
торопит позднюю весну?
Когда в распахнутом окне
гудит черемуха и тает,
когда терпенья не хватает
торчать в дому – что делать мне?

Не лучше ль наложить запрет
на филькин труд, на кучу хлама
и посмотреть на вещи прямо?
Конечно лучше – что за бред!
Не лучше ль из дому во двор
пройти небрежно и лениво,
и постоять, и выпить пива?
Конечно лучше – что за вздор!
Так выпьем, разведем бобы
с гуляками и остряками!
Так нет же – развожу руками
и слизываю соль с губы.
Ах, черт, какая дребедень!
Я злюсь и курицей мореной
на загогулине мудреной
вишу как проклятый весь день.
И надвигается разлад,
где строгость переходит в праздность,
и тяготит несообразность,
и скачут мысли невпопад.
Я сбился с ног и в тишине
руками голову сжимаю
и ничего не понимаю:
– Что делать мне?..

1965

В паводок

Свежим утром, покуда светает
в деревянном и низком краю,
медный колокол медленно мает
безъязыкую службу свою.
Облупилась яичная кладка,
сгнил настил до последней доски.
Посреди мирового порядка
нет тоскливее здешней тоски.
Здесь, у темной стены, у погоста
оглянусь на грачиный разбой,
на деревья, поднявшие гнезда
в голых сучьях над мутной водой;
на разлив, где, по-волчьему мучась,
сходит рыба с озимых полей,
и на эту ничтожную участь,
нареченную жизнью моей;
оглянусь на пустырь мироздания,
подымусь над своей же тщетой,
и — внезапно — займется дыханье,
и — язык обожжет немотой.

*** * * («Когда верблюд пролез...»)**

Когда верблюд пролез
в игольное ушко –
перебродил прогресс,
и зло в добро ушло,
и разомкнулся круг
истории Земли,
и Свет из первых рук
явил дела свои.
Был бесконечный день,
повернутый к теплу,
и влажная сирень
стучала по стеклу.
Был бесконечный час,
пронзительный как стих,
и что-то зрело в нас,
что выше нас самих.
Неслышимый на слух,
невидимый на глаз,
бродил единый Дух,
преображавший нас.
Он зябликом в лесу
свистел на сто ладов,
да так, что на весу
сорваться был готов.

И тонкий-тонкий звук
терялся вдалеке,
и я — как всё вокруг —
висел на волоске.

1965

*** * * («В нашем городе тишь да гладь...»)**

Ю. Ряшенцеву

В нашем городе тишь да гладь,
листья падают на репейник,
в оголенном окне видать,
как неслышно пыхтит кофейник.
Ходят ходики, не спеша
поворачиваясь на гире,
и, томясь тишиной, душа
глохнет в провинциальном мире.
Что он слышит, мой мертвый слух?
То и слышит, что слушать больно:
как хрипит под ножом петух,
как корова мычит на бойне?
В нашем городе тишь да крышь,
что мы знаем — не знаем сами,
но за что ни возьмись — глядишь,
не сойдутся концы с концами.
И поймешь в невеселый час,

что на осень нашла проруха:
просвистелась она — и нас
оглушила на оба уха.
Оголила сады насквозь
и дала разглядеть сквозь слезы,
как летят, разлетаясь врозь,
лист осины и лист березы...

1965

**Похвала Державину, рожденному столь хилым,
что должно было содержать его в опаре,
дабы получил он сколько-нибудь живности**

Малец был в тесто запечен
и, выйдя на дрожжах оттуда,
уже в летах, зело учен,
подумал: — Нет добра без худа.
А был он тертым калачом,
врал правду, но, как говорится,
уж коли Оры за плечом,
то что тебе императрица.
Ну кто бы знал, какой обман —
наутро лечь, в обед проснуться
и только вычистить кафтан,
как — бац! — на рифме поскользнуться.
Ну кто бы думал, что за прыть —

водить императрицу за нос
и с тем предерзостно открыть
свой век, на будущий позарясь.
Пока он дрых за семерых,
все хлеба время перемесит,
и глядь — на чашах мировых
нас недоносок перевесит.
Первейший муж, последний жох,
не про тебя моя побаска:
я сам не плох, но — видит Бог —
не та мука, не та закваска.
Малец, себя не проворонь —
ори! А нету отголоска,
как он — из полымя в огонь —
не можешь? В том-то и загвоздка!

1965

*** * * («Я не помнил ни бед, ни обид...»)**

Я не помнил ни бед, ни обид,
жил как жил — и во зло, и во благо.
Почему же так душу знобит,
как скулит в непогоду дворняга?
Почему на окраине дней
самых ясных и самых свободных
так знобит меня отблеск огней

и гуденье винтов пароходных?
Верно, в пору стоячей воды
равновесия нет и в помине,
и предчувствие близкой беды
открывается в русской равнине.
И присутствие снега и льда
ощущается в зябком дыхании,
и такая вокруг пустота,
что хоть криком кричи в мирозданье.
Никого... Я один на один
с прозябаньем в осенней природе,
в частоколе берез и осин,
словно пугало на огороде.
Мы срослись. Как река к берегам
примерзает гусиною кожей,
так земля примерзает к ногам
и душа — к пустырям бездорожий.
Видит Бог, наше дело труба!
Так уймись и не требуй огласки.
Пусть как есть торжествует судьба
на исходе недоброй развязки.
И, пытая вечернюю тьму,
я по долгим гудкам парохода,
по сиротскому эху пойму,
что нам стоит тоска и свобода.

1965

Плѐс

Имя

*** * * («Я назову тобой бездомный год...»)**

Я назову тобой бездомный год,
кочевий наших пестрый обиход,
и ночь в окне, и лампу на стене,
и тьму привычек, непонятных мне.
Я назову тобой разлив реки,
избыток жизни с привкусом тоски.
Пусть даже ты уйдешь — я не умру.
...и тень в жару, и зяблика в бору.
Пусть даже ты уйдешь — я буду знать,
что, названная, прибежишь опять,
хотя тебе и будет невдомек,
что я один, но я не одинок,
что ты как дух со мной наедине.
...и ночь в окне, и лампу на стене.

1966

*** * * («Я и сам не пойму, что к чему...»)**

Я и сам не пойму, что к чему:
как-то листья летят безоглядно,
что-то стало прохладно в доме.
Ну да что нам терять? Ну да ладно!
Ведь и так, изведясь без вины,
на окраине бабьего лета
мы пропаще с тобой влюблены –
да еще и потерянность эта!
Ведь и так в двух шагах от беды,
белой изморозью хорошея,
на траве проступают следы –
да еще эти пальцы на шее!
Для того ли нас в глушь занесло
и свело под случайною крышей,
чтобы после листвой занесло
и засыпало вьюгой притихшей?
Неужели когда-то потом
в этом крае, таком нелюдимом,
даже память затянет как льдом,
или пуще – развеется дымом?
Но представишь другую судьбу,
и следы, и порошу густую –
а, да что! – Закрывай-ка трубу,
всё и так прогорело вчистую!

1967

Баллада о реставраторе

Н. Воробьеву

Опять качаются над ребрами дворов
на белых ветках стаи черных воробьев.
Как скоморохи у боярского крыльца,
они качаются, покачиваются.
И – гайда! гайда! – с метой песьей головы
метет метелица по улицам Москвы.
И снег опричный замечает с головой
тупик кирпичный, переулок Угловой.
А наверху – под самой крышей – в мастерской
затворник дошлый горбит спину день-деньской.
Он в три погибели согнулся над доской
с улыбкой ангельской, с ухваткой воровской.
Он одержим сегодня зудом ремесла,
разводом линий, оперением крыла.
Среди летящих и парящих – хоть убей! –
он самый стреляный и черный воробей.
Пусть образ вечности олифою покрыт,
а он, прищурившись, на время поглядит.
Компресс наложит и, задумавшись, замрет
и три столетья вместе с марлей отвернет.
И только вздрогнет, как откроется впервой
печальный облик за печатью снеговой.
И только ахнет, как по замыслу Творца

лик сострадания проступит из лица.
Вот, друг мой, истина! Не тот сегодня век,
не та метелица, и улица, и снег.
Но, понимаешь ли, хотя и век не тот,
а не поймешь, в какую сторону метет.
К чему качаются над ребрами дворов
на белых ветках стаи черных воробьев?
Зачем, как сирины под дробью ледяной,
зрачки мазуриков шныряют за спиной?
Зло крыто охрою. История в крови.
Но ангел падший домогается любви.
И снег всё пристальней, но как бы ни мело,
утишим зло — у нас такое ремесло.
Проверим заново — ты кисть, а я перо.
Что нам в укор? Добро не может быть старо.
И кто-то в будущем таким же декабрем,
быть может, вспомнит нас — с печалью и добром.

1967

*** * * («Я был разбужен третьим петухом...»)**

Я был разбужен третьим петухом,
будильником, гремучими часами,
каким-то чертом, скачущим верхом
на лошади, и всеми голосами —
я был разбужен из небытия

с душою как сумою переметной.
И я услышал: это жизнь моя
меня звала, пока я спал как мертвый.
Была заря, и за рекою луг
сверкал росой, и зыбилося течение,
и, пробуждаясь, было всё вокруг
исполнено иного назначения.
Я видел: мир себя же самого
ломал и ладил волей своенравной.
И я подумал, глядя на него:
покуда он во мне, я в нем как равный.
Когда он вправду одухотворен
людским умом и разумом звериным,
да будет он не скопищем имен,
но Именем, всеобщим и единым!

1965

Обращение к шарманщику Шаво из духана «Бетани»

Аллаверды к тебе, мой милый!
Ты видишь, я еще не пьян,
а потому в пирушке мирной
хочу и я поднять стакан.
Ну кто не знает, северяне
не любят говорить красно.

Но этот запах из марани!
Но это красное вино!
Я век бы жил анахоретом,
но, если теплится огонь,
я так скажу: живи поэтом! —
и к сердцу прислоню ладонь.
Давай, Шаво, крути шарманку,
крути, выкручивай до дна!
Скажи, за душу наизнанку
не мало ли — глоток вина?
За душу ребрами наружу
не много ли — вина глоток?
Верти, верти, бери за душу,
лей родниковый кипяток...
Спасибо, друг! Ты видишь, милый,
как песне плачется легко
над грибоедовской могилой
и над могилою Нико.
Быть может, если будем живы,
мы вспомним как-нибудь потом,
как вызывающе красивы
мы были в дружестве своем.
Мы вспомним, как на горной выси,
смотря на гибельный предел,
мы пили за ночной Тбилиси,
а ты нам музыку вертел.

*** * * («Душа чему-то противостоит...»)**

Душа чему-то противостоит –
безверью ли, тоске иль вырождению,
но ей, как одинокому растению,
в чужую тень склониться предстоит.
Взгляни, как сладко ягоды висят,
но слаще среди них чужая ветка.
– Малина ваша проросла в наш сад, –
через забор мне говорит соседка.
Да что малина, если с давних пор
и сорняки опутали округу,
и поле с лугом тянутся друг к другу,
и безоглядно тянется простор –
куда? к чему? не всё ли нам равно! –
к земле чужой или к звезде горячей,
к неведомой, но чаемой давно
какой-то бездне противостоящей...

.....

.....

.....

.....

*** * * («Я отходил от свежей памяти...»)**

Я отходил от свежей памяти.
Не забывал, а забывался.
Бывало, выбираясь на люди,
молчал да в угол забивался.
И чай помешивая ложечкой,
вдруг вздрагивал как от укола:
то захолонеет под ложечкой,
то кипятком ошпарит горло.
И обожжет напоминание,
когда, не подавая виду,
войдет она на посмеяние,
гордячка, довершить обиду.
Она войдет в мое забвение
и руки белые заломит,
и как при солнечном затмении
на мирозданье псы завоют.
И расставаясь не оглянется,
и в пустоту уйдет как сгинет.
И час по часу год протянется.
И постепенно чай остынет.
Потом тоска моя как облако
в мороз рассеется из дому.
Потом ни имени, ни облика,
хотел бы вспомнить — да не помню...

1965

*** * * («Отцветает миндаль,
и айва уже следом цветет...»)**

Отцветает миндаль, и айва уже следом цветет,
хорошо мне да жаль, что и этот мираж опадет;
и легко мне да грусть как сиверко снежит деревца,
всё проходит, но пусть золотится хоть эта пыльца.
Ты не вей, ветровей, не отряхивай цвета в садах,
хоть на миг пожалей этот белый и розовый прах;
хочешь море взволнуй, хочешь пыль над дорогами взвей,
только пуха не сдуй — это весть от подружки моей.
Как она далека, как боюсь я ее потерять,
и такая тоска — только имя ее повторять;
ах, не всё ли равно, чьей тоской этот прах воскрылен,
длинной веткой в окно постучать бы, да час неровен.
Ты на север махни с нарастающих гор, снеговой,
и во двор заверни, осыпая с рябин снегирей;
может, глянет она и ни зги не увидит в окне,
скажет: — вот и весна! — и подумает вдруг обо мне...

1969

Ялта

*** * * («А в нашем саду поселились вороны...»)**

А в нашем саду поселились вороны.
Вьют гнезда. Ломают сушняк на дубах
и каркают так, что качаются кроны
от ора и в душу вселяется страх.
Да вправду ль вороны? Не спутать бы мастью,
не вспомнить бы зоркой приметы потом:
ворона к ненастью, а ворон к несчастью.
К чему же отец тычет в небо шестом?
Ах, Господи, что за содом! Неужели?
Не знаю, не знаю... Лишь в этот приезд
заметил, как мать и отец постарели.
Не знаю, не знаю, к чему этот шест.
...Как билось оно — не от той ли печали? —
над шумным гнездом вороное крыло!
А ветви шумели. А птицы кричали.
А солнце, весеннее солнце пекло.
Хоть гром бы свалился вороньей напастью!
Хоть ливень бы хлынул на наше жилье!
Ворона к ненастью, а ворон к несчастью.
Вороны иль вороны?
— Кыш, воронье!

В грозу

Такое удушье стояло в ночи,
недаром весь вечер кричали грачи,
кричали, кричали, кричали истошно,
и было от грая уснуть невозможно.
Когда ж я уснул на какой-нибудь час,
раскатистый грохот пространство потряс,
и вжались пружины, – чтоб им провалиться! –
я раньше вскочил, чем успел пробудиться.
Лил ливень. Металась сирень за окном,
и крыша слепила зловещим огнем.
Я только очнулся, окно затворяя,
как вспыхнула вспышка, на миг озаряя
все мокрые крыши, весь вымокший сад,
и грянул – я так и отпрянул! – разряд,
и я, как цыпленок, забившись под клушу,
не знал, куда деть оробевшую душу.
Не так ли когда-то – конечно, не так! –
глядел Зороастр в ослепляющий мрак
из храма и, гневную чуя тревогу,
пророк выходил исповедаться Богу.
Лил ливень. Гремел за раскатом раскат.
А он подымал испытующий взгляд
и смерти искал, но ревнивая Сила
его – поборовшего робость – щадила.

Лил ливень. Металась сирень за окном.
И саднило душу совсем об ином.
...Металась, металась, металась тревожно,
и трепета было унять невозможно.
Казалось, весь мир трепетал под дождем,
а я всё следил — подождем, подождем! —
следил из окна с восхищением и злобой:
не хочешь ли выйти? Попробуй, попробуй...

1968

Барков

Храпел мясник среди пуховых облаков.
Летел ямщик на вороных по звездной шири.
А что же ты, иль оплошал, Иван Барков?
Опять посуду бил и горло драл в трактире.
А утром бил уже в Зарядье барабан.
Уже в рядах кричали лавочники с ражем.
А что же ты, иль не очухался, Иван?
Опять строчил срамные вирши под куражем.
Не тяжело пьянство, да похмелье тяжело:
набрешут досыту, а свалят на Баркова.
Такое семя крохоборское пошло,
что за пятак себя же выпороть готово.
Назвать по имени — срамнее не назвать!
Что Сумароков, не ученая ль ворона?

Недаром шляпу так и хочется сорвать:
– Привет, почтеннейший, от русского Скаррона!
И вам почтение, отцы гражданских од!
Травите олухов с дозволенным задором,
авось и вам по Божьей воле повезет
и петь забористо, и сдохнуть под забором.
Травите общество. Ручаюсь головой,
что вы воистину смелы до первой драки.
Но гром прокатит по булыжной мостовой,
и ваши дерзкие слова – под хвост собаке!
Но вздор накатит – и разденется душа,
и выйдет голая – берите на забаву.
Ах, Муза, Муза, – до чего же хороша! –
идет, бесстыжая, рукой прикрыв жураву.

1968

*** * * («Когда в поселке свет потух...»)**

Когда в поселке свет потух,
и прокричал со сна петух,
и прошумели ветви яблонь,
я, вздрогнув, ощутил на слух
тот пленный отчужденный дух,
который был природой явлен.
Стояла ночь, и лай собак
стихал, усугубляя мрак,

и, стихнув, не давал забыться,
и мысль неловко, кое-как
толкалась, как ручей в овраг,
ища, во что бы воплотиться.
Наверно, там, таясь за тьмой,
досадная себе самой,
она текла прямей и шире,
а я, ее исток прямой,
я так хотел, чтоб голос мой
как равный воплотился в мире.
Я так хотел найти слова
бесхитростного естества,
но чуждо, чуть касаясь слуха,
шуршала мокрая трава,
шумела черная листва –
свидетельства иного духа.
И в кадке с дождевой водой
дрожала ржавою звездой
живая бездна мироздания.
Не я, не я, но кто другой,
склонясь над млечною грядой,
оставил здесь свое дыхание?

1968

Осенины

Так дышится легко, так далеко глядится,
что, кажется, вот-вот напишется страница.
О чем? Поди скажи! О том, как безутешно
повернута на юг открытая скворешня?
Или о том, как гром окраинами бродит,
и листопад идет, и молодость проходит?
Что скажешь? Как поймешь? Возьмешь ли грех на душу
нарушить тишину? – И словом не нарушу!
Лишь дланью погляжу на снявшуюся стаю,
как будто этот мир и сам я покидаю.
И оброну перо, и сердцем просветлею,
и – разом – подымусь над участью своею.
Я жил. И я ушел. И нет меня в помине.
И тень моя скользит неслышно по равнине.
И так мне высоко, что это ли не чудо –
оборотись – глядеть с улыбкою оттуда?

1968

*** * * («Всю ночь громыхал водосток...»)**

Всю ночь громыхал водосток,
лилось через край из кадушки,
кололо перо из подушки –
и мне не спалось. Я не мог
согреться и еле дремал,
под бок подоткнув одеяло,

и что-то меня донимало,
а что — я едва понимал.
Шел снег впереमेжку с дождем,
светало, и в ситничке редком
я видел себя малолетком
в том ситцевом городе, в том
чужом полуночном саду,
где были знакомы все щели,
где яблоки райские зрели —
ах, как они вязли во рту!
Я видел Покровский бульвар,
бездомность, и юность больную,
и женщину немолодую,
и первый восторг, и кошмар
познания: — Не хочешь ранет? —
Нелепица мысль бередила,
и жалко мне юности было
и тех неприкаянных лет.
Мне грустен был прежний удел,
но дорог. Какая досада,
что яблок из райского сада
мне больше не рвать. Я глядел
на тридцатилетний итог
с надеждой и смутной виною
и слушал, как пахнет весною
шумящий внизу водосток.
Ну что же! Я видел насквозь
все сроки — и не отрекался.
Нечаянно дождь оборвался,

а в кадку лилось и лилось.
И думал я, слушая шум,
быть может, впервые свободно
о жизни — и всё что угодно
легко приходило на ум.

1969

*** * * («...Я слышу, слышу родину свою!...»)**

...Я слышу, слышу родину свою!
Вдоль ровных лип, вдоль стриженных заборов
брожу и — хоть убей! — не узнаю
ни тех дворов, ни птичьих коридоров.
Здесь дом снесли, тут вырубил сад,
там под фундамент яму раскопали,
но дождь прошел — и в будущем подвале
еще ныряет выводок утят.
И грустно мне. Каких искать примет?
Я этот город знал не понаслышке,
а он другой: ни старых улиц нет,
ни вечного пожарника на вышке.
Так многого вокруг недостает,
что кажется, терять уже не больно.
И долговязо смотрит колокольня
на кладбище и мебельный завод.
На берегу, где высился собор,

она стоит как памятник терпению,
ни кирпичом, ни камнем не в укор
своей земле. А день цветет сиренью.
А над землею майские жуки
жужжат, жужжат, и в сумерках белёсых
просвечивают листья на берегах.
Ах, Боже мой, как дни-то высоки!
Как заросли упруги: только тронь –
и обдадут, чтоб было неповадно.
И бабочки опять летят в огонь.
И снова жизнь свежа и безоглядна.
Везде, во всем, куда ни оглянусь,
она трепещет в пагубе цветенья.
И каждый куст не терпит повторенья –
шумит, шумит... И я не повторюсь!

1969

*** * * («Как торопится жизнь! Не вчера ли)**

Как торопится жизнь! Не вчера ли
ветки торкались в изморозь рам,
а сегодня уже разметали
брачный пух по зеленым дворам.
– Горько! Горько! – и в пьяном веселье
чья-то свадьба колотит горшки.
– Горько! Горько! – еще на похмелье

желчь измены и горечь тоски.
Ну да что! В этом мире цветущем
так легко на душе, так светло,
что не хочется знать о грядущем
или думать о том, что прошло.
Хороша эта жадная воля –
не загадывать век наперед,
всё теперь – и любовь, и застолье,
потому что и это пройдет.
Потому что скорбям и удачам
счет один. И как древний собрат
говорю вам: я тленьем охвачен,
но в груди моей чувства кипят!

1969

*** * * («Когда гюрза встает под выстрел...»)**

Когда гюрза встает под выстрел,
гипнотизируя заряд,
каким восторгом злобной мысли
глаза змеиные горят!
Когда ты, ветреная, мимо
пройдешь, небрежно бросив взгляд,
о, как глаза мои змеино
в тебе врага боготворят!

1966

*** * * («Скажи, художник, легок ли секрет...»)**

Б. Биргеру

Скажи, художник, легок ли секрет
по совести влачить достаток бедный?
Чердак твой гол: топчан, да чайник медный,
да на мольберте сохнувший портрет.
Двух светлых пятен инистый валёр.
Рука и лоб. И взгляд — еще в сомненье,
еще в потемках мысли, но мгновенье —
и озарится, и глядит в упор.
Глядит, а в нем такая полнота
художества и щедрость обнаженья,
что каждым нервом чувствуешь движенье
почти одушевленного холста.
О много ль надо, чтоб понять душе
свою заботу? Хватит для примера
того, что есть: холста, да глазомера,
да неба на последнем этаже.
А там, какое б ни было житье, —
единый коридор, одна дорога:
до врат Дахау, до престола Бога,
до вернисажа. Каждому свое!

*** * * («На окраине кладбища,
где начинается поле...»)**

На окраине кладбища, где начинается поле,
бродят козы и в редком подлеске дрожит тишина.
Убирают картошку, и тянет ботвой с огородов,
и за каждым пригорком начертана чья-то судьба.
Мне не скоро еще! Для чего же так долго гляжу я
в бередящий простор, на распятыя железных антенн
и чего-то всё жду?.. То ли сойку спугну мимоходом,
то ли друга умершего вспомню — и как бы очнусь
ото сна: где я? что я? Иду — и не знаю дороги,
только слышу, как воздух горчит, как лопата стучит,
отдаваясь в листве. И спокойствие мало-помалу
за ходьбою приходит ко мне. Возвратившись домой,
выпив чаю, я с книгой прилягу на старом диване
и, открыв наугад, двух страниц не успею прочесть,
как усталость возьмет. Я закрою глаза и увижу
лес и дым и пасущихся коз... Далеко-далеко
колокольня белеется. В сумерках стадо пригнали.
Я по улице Зорьку гоню, а вокруг хорошо:
расцветает сирень и уже посадили картошку,
окна настезь, и наши в Берлине, и мать молода,
и поет патефон, и какая-то женщина плачет,

и я осенью в школу пойду – хорошо-хорошо!..
...Ходят ходики... В сумерках ранних склонилась
старуха.

Боже мой, как согнуло тебя, дорогая моя.

Где сиреневый вечер?

Где радость надежды?

Где козья погудка?

Скрип часов... Тишина... Тишина.

1969

*** * * («...И мы где-то жили на этой земле...»)**

...И мы где-то жили на этой земле.

Не здесь ли, где в птичьем овраге
росли волчьи ягоды и на стекле
звезда холодела во мраке?

Не там ли, где в сумерках, красный как язь,
гудком пароход надрывался,
и нефть отливала, и бакен, двоясь,
на черной волне колыхался?

А может быть, там, где меж тесных громад
под гнетом родным и постылым
мы дни изживали свои, где разлад
с собой был тошнее, чем с миром?

Кто знает? К чему ворошить этот прах!

Ведь то, что в сердца колотило,

быльем поросло на зеленых буграх
и волчьим вином забродило.
И ясно: на этой земле никогда
тебя, мой товарищ, не будет.
Лишь память, аукаясь как сирота,
предчувствия поздние будит...

1970

Воробьиная ночь

*** * * («Зычный гудок, ветер в лицо,
грохот колес нарастающий...»)**

*Что ми шумить что ми звенить давеча рано пред
зорями.*

«Слово о полку Игореве»

Зычный гудок, ветер в лицо, грохот колес нарастающий.
Вот и погас красный фонарь – юность, курящий вагон.
Вот и опять вздох тишины веет над ранью светающей,
и на пути с черных ветвей сыплется гомон ворон.
Родина! Свет тусклых полей, омут речной да излучина,
ржавчина крыш, дрожь проводов, рокот быков
под мостом, –
кажется, всё, что улеглось, талой водой взбаламучено,
всплыло со дна и понеслось, чтоб отстояться потом.
Это весна всё подняла, всё потопила и вздыбила –
бестолочь дней, мелочь надежд – и показала тщету.
Что ж я стою, оторопел? Или нет лучшего выбора,
чем этот край, где от лугов илом несет за версту?
Гром ли гремит? Гроб ли несут? Грай ли висит
над просторами?
Что ворожит над головой неугомонный галдеж?

Что мне шумит, что мне звенит издали рано пред
зорями?

За семь веков не оглядеть! Как же за жизнь разберешь?

Но и в тщете благодарю, жизнь, за надежду угрюмую,
за неуспех и за пример зла не держать за душой.

Поезд ли жду или гляжу с насыпи — я уже думаю,
что и меня кто-нибудь ждет, где-то и я не чужой.

1970

*** * * («Заколодило наши пути...»)**

Заколодило наши пути.

Развело — и путей не узнаешь.

Жар еще не сошел, погоди!

Веет липой — а ты уезжаешь.

Сохнут губы, и пальцы как лед.

Что случилось? С какого недуга
так горячечно липа цветет

и глаза избегают друг друга?

Ни о чем я тебя не прошу,
уезжай — наша связь добровольна.

На вечерний перрон провожу,
уезжай, уезжай — мне не больно!

Всё равно! Что тянуть канитель,
если память копейки не стоит?

Застилай на дорогу постель,

и не стоит об этом, не стоит...
И когда отшатнувшийся свет
поплывет и закружатся тени,
– Я любил тебя! – выдохну вслед
и – ступени, колеса, колени.
И экспресс застучит второпях,
и стремглав за экспрессом летящим
горы шлака на черных путях
вдруг откроются в небе горящем.
Вот и всё. И обдаст колею.
И заклинит рычаг семафора.
Ничего. Я и это стерплю.
...И отпустит. Теперь уже скоро...

1970

*** * * («...И пока гомонит воробьиная ночь...»)**

...И пока гомонит воробьиная ночь,
я скажу тебе так: ни к чему эти счеты.
С нас довольно! Не воду ли в ступе толочь –
объясняться, когда целый мир на двоих?
Мы в расчете со всеми, и эти щедроты –
только мелочь надежд, и довольно о них!
Воробьиная ночь, это всё ее зной,
грозовая испарина душной столицы.
Как деревья шумят помертвелой листвой!

Как сверкают зарницы, дождем обходя!
И, шарахаясь сослепу, мечутся птицы,
клювы жадно раскрыв. И ни капли дождя.
И ни грусти, ни радости — и никакой
ни грозы, ни прохлады, лишь ветер горячий,
да еще тополя сыплют спермой сухой,
да еще прожитое меж пальцев течет,
да еще все амбиции, все неудачи,
да еще, да еще... О погашенный счет!
Всё погашено... Всё, что могли погасить!
Для чего же душа еще жжет головешкой?
Я, наверно, устал, и обиды сносить
нету сил... Я устал... Это жар или бред?
Так чего же ты медлишь? Скорей же, не мешкай,
брось мне вызов и ты — это лучший ответ!
Чем больнее, тем легче. И прочь этот вздор!
Утром дворники встанут и пададь ночную —
эти перья и пух, засорившие двор, —
на ребячью потеху сгребут и сожгут.
Ты — свободна! К чему же тебя я ревную?
К безразсудству, с которым и птицы не мрут?
Воробьиная ночь, воробьиная мгла.
Всё смешалось в одно, а нельзя ошибиться.
Я спокоен, и там, где лишь пыль да зола,
уголек еще пышет, пытаюсь помочь.
Я спокоен, спокоен, но страшно решиться.
О, пролейся ливня, воробьиная ночь!

*** * * («Робея, сама прибежала...»)**

Робея, сама прибежала,
накидку смахнула рывком
и, волосы взбив как попало,
осыпала талым снежком.
А плечи так жарки до дрожи,
так мокро топорщится ворс,
что только ознобом по коже
и страшно, что это всерьез!
Ах, радость моя, успокойся.
К чему наводить марафет?
Присядем. Не бойся, не бойся.
Как зябко! И выключим свет.
О чем ты? Как доводы долги.
Как руки твои холодны.
Не надо, не надо о долге —
мы только любимым должны.
Да ладно, сочтемся со всеми.
Скорей же! — я сам без ума.
Скорей! — и колени в колени,
и сердце у горла, и тьма.
...А там, за тяжелою шторой,
где в соснах стоит Орион,
протяжно торопится скорый,
влача за вагоном вагон.

Он буфером буфер толкает,
динамо-машиной гремит,
стрекочет, стучит, громыхает,
спешит, затихает, скрипит...
А наша с тобою дорога –
навстречу да в две колеи.
Ты плачешь? Прости, ради бога!
Я руки целую твои.
Ты плачешь? Не мучься обманом,
смотри, как счастливо горит
на пальце твоём безымянном
болезненный камень нефрит.
И так хорошо, что мы рядом,
что темен случайный ночлег
и ночь шелестит снегопадом,
и только и свету что снег...

1971

Напоминание об Ивике

Я лишь во сне свободен,
как раб, освобожден
от произвола родин
и слепоты времен!
Иду себе свободно
в родной Пелопоннес,

как Ивик беззаботный
через весенний лес.
Как хорошо дорогу
прослушать посошком,
шагая понемногу
с дудой и мешком!
Как радостно с пригорка
висячий слушать гам
и легкодумно-зорко
глядеть по сторонам!
А там, в зеленой шири –
дубравы да луга.
Коровы опустили
в траву свои рога.
Снопы лучей белёсых
клубят лесную тьму.
Воткну я в землю посох
и дудочку возьму.
Я горло ей продую
и выпущу из рук
мелодию такую,
как эти лес и луг.
А лес всё гуще, гуще,
всё уже колея.
Вперед – в просвет цветущий
иногo бытия!
Не блудному ли сыну
веселый дар с небес?
Кто хочет – в Палестину,

а я — в Пелопоннес!
И так я заиграю,
как истмийский флейтист.
И отзовется с краю
опушки птичий свист.
Но что там? В хвойном мраке —
всё ближе, ближе — ах! —
не птицы, а бродяги
с дубинками в руках.
Они посторонятся
и станут за сосной.
— Своим ли приbedняться?
Идемте! Кто со мной?
Они переглянутся
о чем-то о своем
и только улыбнутся,
дубинки взяв: — Идем!
Один, другой и третий —
все трое — напрямик.
— Друзья, Зевес свидетель,
нам дудка проводник.
А грай в вороньих гнездах!
А столько воронья!
— Вы чувствуете воздух
ино́го бытия?
А солнечные пятна!
А красные цветы!
И голос: — Мы-то ладно,
но чувствуешь ли ты?

И словно шило, что ли,
пронзило левый бок.
И выпали от боли
и дудка, и мешок.
И что еще? Потемки.
Я охнул — и упал.
И кто-то в перепонки
впотьмах застрекотал.
И заскрипел, и дрелью,
буравящей сучок,
засвиристел под дверью —
так тоненько — сверчок...
Оставим объяснения.
Кто ведает о том,
какие сновиденья
перед последним сном?
Я мало жил — и много.
Там умер — здесь воскрес.
Но где она, дорога
в родной Пелопоннес?
А жизнь всё безымянней,
и многие в тени.
И мы, будильщик ранний,
и мы с тобой одни.
Лишь рядом из поселка
сосновый скрип глухой
да поздняя поземка
по опали сухой...

*** * * («Еще помидорной рассаде...»)**

On the fairest time of June.

Keats¹

Еще помидорной рассаде
большие нужны костыли,
и щели в искрящей ограде
выюном еще не заросли;
еще предзакатные краски
легки как однажды в году,
и пух одуванчиков майских
не тонет в июньском пруду.
Но так сумасшедше прекрасна
недолгая эта пора
и небо пустое так ясно
с вечерней зари до утра,
что, кажется, мельком, случайно
чего ни коснется рука —
и нет, и останется тайна
на пальцах, как тальк с мотылька.
О, лучше не трогай, не трогай.
Что правды? Иди как идешь

¹ В прекрасную пору июня. Китс (англ.).

своей легкодумной дорогой
и тайны чужой не тревожь.
Довольно с тебя и окраины,
и неба, и вспышек гвоздик.
Ты, может быть, сам не без тайны,
но, к счастью, ее не постиг.

1973

*** * * («Заплачет иволга и зацветет жасмин...»)**

Заплачет иволга и зацветет жасмин.
И догадаешься: ты в мире не один.
Так тишь колодезна. Так ведро глубоко.
Гроза промчалась – и прокисло молоко.
И дуб струящийся, вобравший небосвод,
как конь от мух, листвою нижнею прядет.
Живи как можется, вдыхай до ломоты
озон жасминовый и банный дух тщеты!
Тебе ли не было отпущено с лихвой?
Так слушай: иволга кричит над головой...

1973

Бывшим маршрутом

Я оторвался от своих корней,
а родина моя всё зеленой
чужой листвой шумит над головой!..

Не странно ли, на улице Лесной уже ни леса нет, ни лесопилок – булыжник да асфальт. Летит трамвай, на крышу тень кирпичная упала, и пыль, крутясь, вдогонку понеслась, и ветер, ветер... И жалеть не надо! Я так устал от самого себя, что только бы глядеть, глядеть, да слушать на поворотах скрежет осевой, да отмечать проездом: Квас. Газеты. Цветы. Тишинский рынок. Зоопарк. Ваганьковское кладбище. Обратно. И ничего другого... Говорят, что парность – знак надежды. В этой жизни я главное, быть может, проглядел, а шум остался, неусыпный, долгий, тенистый шум, лесная благодать...

Как хочется под липой постоять,
под чистой липой – и увидеть мать.
Она меня уже не узнает:
глядит в окно и всё чего-то ждет,
всё слушает, уставив наугад
свой напряженно-безучастный взгляд.
Еще жива, еще не умерла,
но душу в бедном теле изжила –
всю, за меня... И страшно сознавать,
что мне любви ее не оправдать.
И этот взгляд... За что? И почему?

Мне хорошо на людях одному. Скрипи, трамвай, греми в кольце железном! Скрипи-греми! Счастлив, кому дано из колеи осточертевшей выпасть и время на ходу остановить! Развоплощенность – это путь свободы. Как хочется в ладони зачерпнуть минуту-две, в пустую горсть взглядеться, держать, держать, ни капли не пролить. И как повеет чем-то... Лето, лето, весна цветов, пионы и бензин, искрят газоны, тянет травостоем, и запах детства слышен за квартал.

...А ночью, чтоб отец не увидал,
забраться на душистый сеновал
в конюшне милицейской и впотьмах –
змея! змея! – испытывая страх,
лежать на сене – а покос лесной –
и каждый шорох чувствовать спиной.
И долго в небо черное глядеть.
Раскинуть руки – и лететь, лететь
над красной водокачкой голубой,
над каланчой и заводской трубой,
над колокольней – и рукой задеть
за колокол – и раскачается медь.
И вдруг очнуться: что это? И гуд,
и лошади копытами гребут...
И вспыхнет неба вольтовый квадрат –
удар! – и оглушительный раскат
всё сотрясет, и шелест налетит,
порыв, еще – и ливень загудит...
О доблесть малых: страх, восторг и страх!

И топот, топот, топот в денниках.
А я мальчишка, мне двенадцать лет,
как выкидыш я выброшен на свет,
мне интересно жить еще, я мал,
я сам себя еще не осознал,
не знаю, что за грохоты гремят,
какие кони в темноте храпят –
из-под земли – всё громче, всё грозней...

Я оторвался от своих корней, и эта память мне уже чужая, и я уже другой... Но что же, что издалека томит, не отпускает, а кружит, кружит? Что за дикий бег? Куда летит трамвай, и жизнь, и время? Что слышит мать из тишины своей, той тишины последней? Кто ответит? Я мир искал, а потерял себя, и на годах, как на конюшне старой, замок навешен... Как копыта бьют! Стучат! Стучат! Пусть выпрямят дорогу, пускай залиют асфальтом колею, а я свое дослушаю – Тишинский! – додумаю, но нет – так домолчу. А впрочем, хватит. Что там, Белорусский? Пора сходить. И снова этот шум:

Цветы. Газеты. Квас. Он льется, льется...
– Эй, гражданин, не мешкайте в дверях!
Проходит всё, и только остается
неслышный шелест, только шум в ушах...

*** * * («Радости нужен повод...»)**

Радости нужен повод:
день ли рожденья, год
свадьбы — гуляй, коль молод.
Горе само найдет.
Даром не потревожит,
лишних не скажет слов,
руку молчком положит,
глянет в глаза: готов?
Вздогнешь как от ушиба,
жизнь пронесется вспять...
Вот и учись как рыба
воздух пустой глотать.
Начало 1970-х

Три стихотворения

I

Отца и мать двойным ударом
свалила смерть. Их сон глубок.

Теперь они в подлесе старом
лежат ногами на восток.
Лежат, а сбоку стынет лужа,
а сверху воронье кружит,
и шелестит венок: от мужа,
а муж в земле сырой лежит...

II

...И поглотила одна могила
вас друг за другом — и холм сровняла.
И то, что жизнью недавно было,
теперь землею и снегом стало.
И не поверить, как это просто:
в дыму морозном, в ограде тесной
рядком два-оба — среди погоста —
сугроб надгробный да крест железный.
И всё. И солнце в морозном дыме.
И от рожденья до смерти — прочерк.
А я вас вижу еще живыми,
затянут намертво узелочек...
Спите спокойно. Теперь одни вы.
И голос давний, уйду ль, уеду:
— Не забывай нас, пока мы живы,
не будет снегу — не будет следу.
И стук какой-то. Окину взглядом

и догадаюсь: наверно, с ланки.
Каток кладбищенский где-то рядом,
колотят клюшки по мерзлой банке.
А снегу, снегу — само сиянье!
Гляжу — а вас и следы простыли.
Лишь снег остался да в поминанье
два красных яблока на могиле...

III

На бывшем пруду монастырском ребячий каток.
Кресты и ограды, а рядом канадки и клюшки.
Еще мы побегаем малость, подышим чуток,
пока не послышится судный удар колотушки!
Как жизнь эта мечется — зимняя, желанная, жалкая,
но высшая мера часы роковые сверяет:
стучит колотушка — и рядом удары с катка,
играют мальчишки — и трубы играют, играют...

1974

Велосипеды

Что есть и что останется — не знаю.
Как тень мелькает за ее спиной

стремительной, как вспыхивает солнце
на втулке колеса! Она легка
как бабочка, и на лету трепещет
крахмальный фартук белый – догони!
И колея в черемушник ныряет,
и воздух хлещет и пьянит,
а я припал к рулю, верчу педали,
я догоню ее! Но нет, едва ли...

Как ненасытна жизнь в пятнадцать лет!
Записка в книге, зуд велосипедный –
и целый день томишься, и во сне
куда-то сломя голову несешься,
она на раме, ты в седле – и прядь
отбившаяся горячит и дразнит,
а повернется – губы и глаза,
глаза и губы – и колючий шелест,
желанья полный, рама и седло –
и пустота!.. О, разрешение плоти, –
так выбивает пробку к потолку
и раздраженно пузырится пена!
А мы, душа, другие знали сны,
но пролетели врозь велосипеды,
лишь имена Simpson и Diamant
еще тоской черемуховой веют,
послевоенной, злой...

Но чтоб теперь,
теперь столкнуться на перроне: ты ли? –
и отшатнуться: круглое лицо,
прямая полногрудая фигура,

затянутая узким ремешком
как дачный саквояж, и зонт японский –
чужое всё! – и только твердый взгляд
как вызов да еще сухие губы
надменные...

Зачем, зачем всю жизнь
я догонял тебя? Теперь я знаю,
что первая любовь обречена,
но медлю почему-то... Так однажды
стоял я у киоска *Porno-sex*,
о принце Датском смутно вспоминая,
о вопле паровозном, о письме:
– Я больше не люблю тебя, – а рядом
вечерний Копенгаген жил, и негр
глядел в киноглазок, и кто-то шею
тянул, чтоб оттеснить его, взглянуть,
увидеть нечто... Есть у нас секреты,
а тайны нет... Как вздрагивает зонт...
Нелепо говорить, молчать нелепо.
И хорошо, что поезд подошел.
– Звони! – и двери стукнулись резиной...
Не может быть, чтоб я тебя любил.
Не может быть. Я ничего не помню.
Но отчего же так не по себе,
как будто в чем виновен? Нет, довольно,
довольно с нас и собственных забот!
И мне они дороже тех кошмарных
счастливых снов, какие только раз
сбываются, когда мы не готовы

для счастья...

А она еще летит
как бабочка, еще летит, мелькая,
непойманная, легкая такая...
А иногда мне хочется шепнуть
как на духу, всего два слова: время
убийца, а не лекарь...

1974

*** * * («во сне я мимо школы проходил...»)**

во сне я мимо школы проходил
и выдержать не в силах разрыдался

1976

*** * * («Река темнеет в белых берегах...»)**

Река темнеет в белых берегах.
Пронесся ледоход неторопливо
и тишина зыбучая в лугах
стоит недели за две до разлива.
Я что-то потерял. Но что и где?

.....

И колесо колеблется в воде.

*** * * («...и дверь впотьмах
привычную толкнул...»)**

...и дверь впотьмах привычную толкнул –
а там и свет чужой, и странный гул –
куда я? где? – и с дикою догадкой
застолье оглядел невдалеке,
попятился – и щелкнуло в замке.
И вот стою. И ручка под лопаткой.
А рядом шум, и гости за столом.
И подошел отец, сказал: – Пойдем.
Сюда, куда пришел, не опоздаешь.
Здесь все свои. – И место указал.
– Но ты же умер! – я ему сказал.
А он: – Не говори, чего не знаешь.
Он сел, и я окинул стол с вином,
где круглый лук сочился в заливном
и маслянился мозговой горошек,
и мысль пронзила: это скорбный сход,
когда я увидал блины и мед
и холодец из пороссячьих ножек.
Они сидели как одна семья,
в одних летах отцы и сыновья,
и я узнал их, внове узнавая,

и вздрогнул, и стакан застыл в руке:
я мать свою увидел в уголке,
она мне улыбнулась как живая.
В углу, с железной миской как всегда,
она сидела, странно молода,
и улыбалась про себя, но пятна
в подглазьях проступали всё ясней,
как будто жить грозило ей – а ей
так не хотелось уходить обратно.
И я сказал: – Не ты со мной сейчас,
не вы со мной, но помысел о вас.
Но я приду – и ты, отец, вернешься
под этот свет, и ты вернешься, мать!
– Не говори, чего не можешь знать, –
услышал я, – узнаешь – содрогнешься.
И встали все, подняв на посошок.
И я хотел подняться, но не мог.
Хотел, хотел – но двери распахнулись
как в лифте, распахнулись и сошлись,
и то ли вниз куда-то, то ли ввысь,
быстрей, быстрей – и слезы навернулись.
И всех как смыло. Всех до одного.
Глаза поднял – а рядом никого,
ни матери с отцом, ни поминанья,
лишь я один, да жизнь моя при мне,
да острый холодок на самом дне –
сознание смерти или смерть сознания.
И прожитому я подвел черту,
жизнь разделив на эту и на ту,

и полужизни опыт подытожил:
та жизнь была беспечна и легка,
легка, беспечна, молода, горька,
а этой жизни я еще не прожил.

1975

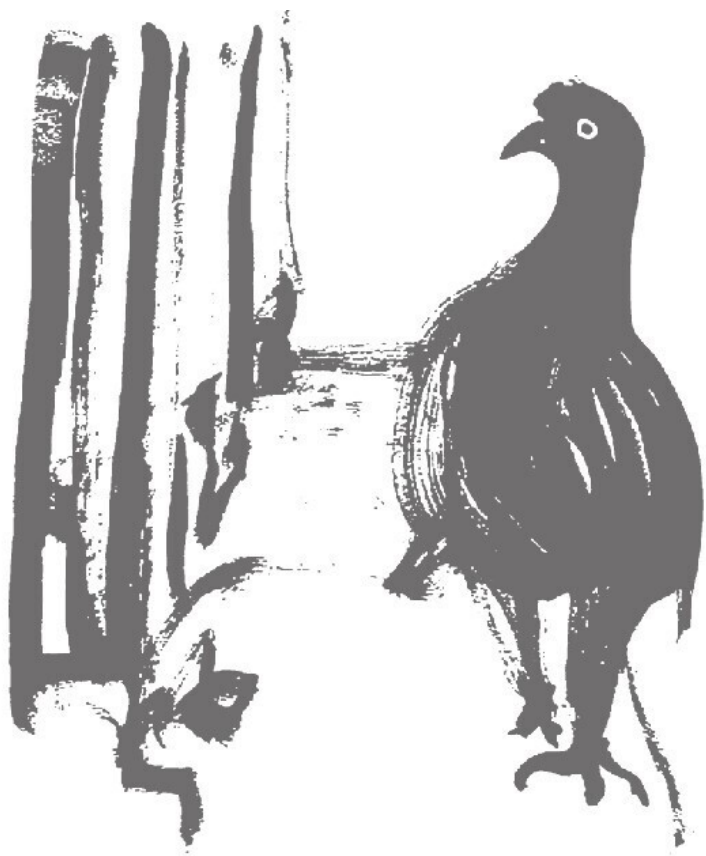
*** * * («С чем проснешься?
С судьбой и дорогой?..»)**

С чем проснешься? С судьбой и дорогой?
Нет, пожалуй, с дорогой одной –
с той проселочной, пыльной, широкой,
полевой, затравевшей, лесной.
Ничего-то и не было, кроме
этой дьявольской тяги колес,
в небо взмывшей на аэродроме
или вылетевшей под откос.
А судьба – это мера иная:
как поется, не свет в терему,
не бездомная песня ночная,
не слова про суму и тюрьму.
Нет, судьба-несудьба пощадила,
а дорога – дорога была,
чтобы горше душа возлюбила
всё, что даром у жизни взяла.
И когда ты в тщете колченогой

ляжешь, тихий, на стол раскладной,
с чем останешься? Только с дорогой –
самой долгой, последней, родной...

1976

Из книги «Слуховое окно» (1983)



Когда запекает бор

Когда, распушив хвостища,
звенят на заре леса
и каждая ветка свищет
на разные голоса,
как Мстера гудет с Мещерой
щебечущий размахай, –
что это, не пенье ль бора? –
нет, это ликует май.
Когда корабельным строем
сосновый скрипит народ,
и волны бегут по хвоям
и валят верхи вразмет,
и валятся шишки оземь,
и шум с поднебесных бездн, –
что это, не пенье ль сосен? –
нет, это еще не песнь.
Когда ж частокол скрипучий
по щиколотку в снегу
и тучи листвы колючей
как замерли на бегу,
когда не поют ни птицы,
ни ветер, но, как топор,
мороз-колотун резвится,
тогда
запекает

бор...

Мы сосны, но мы как люди
стеною встаем живой,
суками — руками — грудью —
порукою круговой,
и если нас точит стужа
пилою и топором,
мы тянем струну всё туже,
нас валят — а мы поем.
Неслыханна эта доля,
живительная беда —
вытягивать поневоле
мелодию в холода,
и слаженней нет артели:
пошатываясь едва,
вынынчивать в колыбели
и музыку, и слова.
А за полночь на мгновенье,
как весть, по ветвям пройдет
не шелест, не дуновенье,
но трепет, как будто Тот,
Кто в дебрях провеял белых
каким-то предвечным сном,
дыханьем Своим одел их
в безветрии ледяном.

*** * * («Я сойду на последней странице...»)**

Я сойду на последней странице,
где березы обступят кругом,
где взлетит полуночная птица
с ветки, капли сбивая крылом.
Я войду в край боярской измены,
в ту страну, где секира и мох...
Вы до мозга костей современны,
реставраторы темных эпох.
Где он, дом? У чужого предела
откачнется в седле голова.
И лежит безымянное тело.
И в зенит прорастает трава.
Красна девица в черном платочке.
Чем помочь? Не отпишешь пером.
Это, как говорится, цветочки,
то-то ягодки будут потом!
И не слух долетит до столицы,
а глухой человеческий вздох...
Я сойду на последней странице,
где безмолвие глуше, чем мох.
Мох да молчь, но безмолвное слово
сургучу не залить, ни свинцу.
Я живу. Это право живого –

имя дать и творцу, и глупцу!

1961

*** * * («Не растекаться мыслию...»)**

Не растекаться мыслию
по древу — вот уж нет! —
а состязаться с мыслию
нам завещал Поэт.
Не веткою-безделкою
слова ловить в капкан,
а прыгать вольной белкою
нам завещал Боян.
Но долго ли безделицу
взять сообща в расчет?
И вот уже по деревцу
кривая мысль течет.
По древу растекается,
и шрифт на полосе
скрипит ветвями, мается,
как белка в колесе.

1970-е

Прощанье со старыми тетрадями, или Размышленья перед трескучей печью и бутылью домашнего вина в старом деревянном доме в Павловом Посаде, где автор родился

Боюсь не вздора, а рутины,
что ни начну, то с середины
и кончу, верно, чепухой.
Не знаю, время или возраст,
но слышу я не лес, а хворост,
не славий щелк, а хруст сухой.
Пора проститься со стихами
и со вторыми петухами –
а третьи сами отпоют, –
с ночными узкими гудками,
с честолюбивыми звонками
под утро, когда их не ждут.
При свете дня яснее проза:
сигнал ли зоркий с тепловоза –
предупредительный гудок,
иль родниковый бульк хрустальный,
как позывной второй сигнальной –

в бутылках забродивший сок.
А впрочем, для чего детали,
когда глаза не суть видали,
а то, что виделось глазам,
в чем опыт думал убедиться,
и не кивай на очевидца,
который верит: видел сам.
А что он видел: луг да ели,
когда торфа́ под ними тлели
или прозрел, как тот герой,
кто меж печатными строками
читал духовными глазами?
И я так паялился порой.
Пора покончить с юным бредом,
с двойным — орлом и Ганимедом —
полетом вечного пера
и пересесть за стол с кровати
(оно для домоседа кстати),
за Rheinmetall засесть пора.
Одна беда: садясь за прозу,
не тяпнешь водочки с морозу
под малосольный огурец.
— Позвольте, где зима, где лето? —
одернет критик, а с поэта
и взятки гладки, наконец.
Не говорю уж о комфорте:
когда ты в форме, хоть на черте
езжай — и тряска нипочем.
И что за путь: ухаб ли, кочка —

не важно! – приживется строчка,
а с ней и улица – твой дом.

А кстати, кое-что о форме:
она не обувь на платформе,
а безразмерные носки,
и важно – слог для пародиста, –
чтоб было в ней легко и чисто,
и меньше пота и тоски...

Так вот: ходил и я в поэтах,
не очень, может быть, пригретых,
но и не загнанных в Инту.

И что же? Горячо-морожно!

Попробуй – жить куда как можно,
но петь уже – дерет во рту...

Да и нелепо как-то: годы
и кризис половой свободы,
не говоря уж о другой.

Не Фрейд ли здесь подставил ножку:
смешно, ловя как малу вошку,
за рифмой бегать час-другой.

А нет бы попросту да быстро
стихом свободным строк по триста
пилить – и, смотришь, капитал.

Что делать, мы консервативны,
как в век пилюль презервативы
(так Вознесенский бы сказал).

Ах, оборотистый народец –
поэты! Бедный оборотец
и тот пускаем в оборот:

бросаешь камешек соседу,
а он булыжник — мельче нету, —
как говорится, в общий счет.
Дудел и я на самоделке,
но повезло: с чужой тарелки
кусков не брал, и сладкий сон
не берedit воспоминанья,
как будто на предмет изданья
звонит редактор Фогельсон.
Простимся с громкими мечтами,
и пусть токуют в фимиаме
соперники по ремеслу —
пусть их! — а мы, как в поговорке
и от махорки будем зорки,
покурим под шумок в углу.
Не угождать. Себе дороже.
Мы суше стали, но и строже,
и пристальней наш поздний свет.
Сойдемся жить и чай заварим,
а постучит какой татарин:
— Вы обознались. Ваших нет.
А впереди такие сроки,
такие дальние дороги,
по осени такая тьма —
что и не стоит... Бога ради!
Опустишь голову в тетради,
поднимешь — а уже зима.
Зима, и жизнь опять вначале,
и там, где яблоки стучали,

трещит морозец молодой,
струится дым, играет холод,
глядишь — а ты уже немолод,
и лед звенит в ведре с водой.
А вдалеке гудок прощальный,
всё тот же, долгий, инфернальный,
и синий-иссиня снежок.

Ведро поставишь ледяное,
стоишь — и голос за спиною:

— Ты что-то мешкаешь, дружок.

— Да-да, иду... — За поворотом
я оглянусь — но никого там,

и в колком инее, как дед,
гляжу в вечерние потемки,

а там ни дыма, ни колонки.

Ошибка вышла. Наших нет.

Вот что увидится... Однако!

Завыла на дворе собака

вниз головою, говорят.

Чур нас! — раздвинем половицы

и вниз сойдем, где сидр хранится

и зеленеет маринад.

Не так ли, высветив бутылки,

и Дант с Вергилием сходили

на круги Ада с фонарем?

Не так, отнюдь! По вере русской

достанем выпивку с закуской

и всех во здравье помянем.

По духу близких и по крови

помянем всех на добром слове,
кому из мерзлых ям не встать.
А помнишь, как — мороз по коже! —
кричал отец, берясь за вожжи:
— Ну, открывай ворота, мать!
А что там: родина ль, чужбина —
кто знает! — дом ли, домовина?
Ездок привстал — и конь несет.
Вот так и я: свое итожу,
продолжить захочу — продолжу,
а надоест — два пальца в рот!
Не первый год живем на свете,
а всё нескладно: свищ в сюжете,
и с флюсом, стало быть, финал.
С прощанья начал, а весельем
кончаю, как бы новосельем
на этот свет — и кончен бал!
Да уж и ночь. Вино допили.
Теперь как в сказке — жили-были —
в постель — и кубарем в провал.
На том и мы — не знаю, кстати ль? —
с тобой расстанемся, читатель,
чтоб ты, как автор, не зевал.
Нет, наше ложе без обмана,
а что да как — была б сметана,
и масло как-нибудь собьем.
Была сметана, будет масло,
а если что кому не ясно,
я это объясню потом.

Послевоенная баллада

– Привезли листовое железо.
– Кто привез? – Да какой-то мужик.
– Кто такой? – А спроси живореза.
– Сколько хочет? – Да бабу на штык.
– И хорош? – Хром на оба протеза.
А язык пулемет. Фронтовик.
– Да пошел!..

– Привезли рубероид.
Изразцы привезли и горбыль.
– А не много? – Да щели прикроет.
Ты вдова, говорит, я бобыль.
А глазищами так и буровит.
– Ну-ка, дьявол, держись за костыль,
а не то...

– Привезли черепицу.
– Убирайся! – Задаром отдам.
Разреши, говорит, притулиться
инвалиду ко вдовым ногам.
Я не евнух, и ты не девица,
ан поладим с грехом пополам.

.....

Дом стоит. Черепица на крыше.
В доме печь: изразец к изразцу.
Кот на ходиках: слушайте, мыши.
Сел малыш на колени к отцу.

А дымок над трубою всё выше,
выше, выше — и сказка к концу.
Ах, не ты ли — какими судьбами —
счастье русское? Как бы не так!
Сапоги оторвало с ногами.
Одиночество свищет в кулак.
И тоска моя рыщет ночами,
как собака, и воеет во мрак.

1979

*** * * («Седой учитель начальных классов в пиджаке с заложенным рукавом...»)**

Седой учитель начальных классов в пиджаке
с заложенным рукавом

рассказывает о княгине Ольге и ее хитроумной мести
древлянам,

а я гляжу за окно, где крыши косым отсвечивают огнем
и голуби уличные, кружась, над городом носятся
деревянными.

Когда ж это было? Страшно представить: тысячелетье
тому назад,

а любовь, разорванная войной, верна всё так же
и вероломна,

и голуби, бедные мировестники, всё так же в гнезда свои
летят,

и всё еще Искоростень горит, и зарево буднично
и огромно.

И пол-Европы лежит в руинах, но, хоть все зарева погаси,
неугасимое что-то брезжит, и синевою исходят лица,

и та княгиня: – Си первое вниде в Царство Небесное
от Руси, –

и однорукий, и мы со всеми – в одном походе, и он всё
длится.

А палец выбрал уже цитату, но указующему персту так мало, видимо, было карты, а зримый образ так исковеркан,

что длань, продолженная указкой, пронзила пикою пустоту:

– Не в мести правда, а в искупенье! – и вышла где-то под Кенигсбергом.

И было тихо, но где нам было постичь всю долгую скорбь его?

Для всякой правды свой час, и ныне в ту даль я всматриваюсь из этой.

И он свидетель, и я свидетель – мы все свидетели, но чего?

Чего-то высшего мы коснулись своей бедой и своей Победой.

Ведь даже тот, кто звездой отмечен, помечен свыше еще крестом,

и кровь, пролитая в правой битве, всё кровь – и ждет своего ответа,

но где последнее воздаянье – не в рукаве ли его пустом? –

где память сердцу и утешенье – не эта орденская ли мета?

И я, поживший на этом свете и тоже тронутый сединой, я вижу сердцем десятилетним тот класс и строгие наши лица,

и как молчали мы потрясенно, виной настигнутые одной, и друг на друга взглянуть не смели, боясь увидеть в них *те* зарницы.

Соседка

По-дружески, без стука
ходил я к ней нередко.
Была она толстуха,
предобрая соседка.
Здорова ли, болеет —
а поделиться не с кем...
Средь бела дня белеют
на окнах зановески.
Сидит у ней Никола,
хмельной женатый грузчик.
Играет радиола,
в углу среди игрушек.
Ой, тонок слух у стенок,
у стенок у фанерных,
ой, хахали у девок,
у девок не у первых.
От скрипа, от позора,
от злого наговора —
играет радиола,
играет радиола!
А муж ее в тюрьге
по дурусти, по пьяни,
теперь ей бедолаге
вся радость — хмель в стакане.
А дети где? А дети —

в песочке, в куче сора —
забыли всё на свете.
Постой же, радиола!
Поймут ли бабье горе
и мамкины секреты?
А знаю я другое,
а помню я не это.
Ей помнится самой же —
сама в беде утешит,
поможет, если может.
Нет, просто люди брешут!
Она ведь помнит Родьку,
лелеет Родиона!
...Буравит штопор пробку,
играет радиола.
А утром снова скажет:
— Здорово! Как живется? —
Письмо его покажет,
покажет, отвернется.
Стоит неловко, боком,
у приоткрытой двери,
стоит, как перед Богом,
в которого не верит.

1959

Семен Усуд

– Во как! – обычно скажет Семен Усуд,
если вдруг кто-то где-то отколет штучку,
выпятит губы, словно найдет колючку,
– Я так и знал! – и сглотнет ее, как верблюд.
Что ни случится: в глаз попадет ресница,
и не ему, а соседу, на сеновал
малый затащит девку, а та девица, –
скорбно надует губы: – Я так и знал!
Всё-то он знает, всё-то он глазом точит,
словно нечистая сила ест мужика;
встанет перед забором, если доска
плохо прибита: – Во! – и доска отскочит.
Словно ребенок, а по летам старик,
не приложил он рук ни к чему и – дальний –
ходит среди людей, и худой кадык,
как у верблюда, пришлою дышит тайной.
Глянешь – куда его черти с утра несут? –
кепку надвинет и чешет себе, сердешный,
мучимый любопытством иль скукой здешней? –
кто его знает. – Куда ты, Семен? – У суд.
Тем и живет. А кто? А откуда родом? –
тайна и есть. Работал ли где когда?
Словно однажды вышел с другим народом
и по пути отстал и забрел сюда.
Сроки ли выйдут, на душу ль камень ляжет

как облегчение, войдет ли под карк ворон
Высший Судья: – А ну-ка скажи, Семен,
не за себя, за тех! – и Семен всё скажет.
Как-то встречаю осенью – шел отстрел
диких собак, – и вспомнил он: – В тридцать третьем
я убежал. От голода зубы съел.
Нам-то еще повезло... – И добавил: – Детям...
– Во как! – потом сказал, помолчал чуток
и, не простясь, пошел городской пустыней,
где на деревьях тающий тенькал иней
и под ногами мерзлый хрустел песок.
Я еще вижу, как он идет по скверу,
как он уходит, тая худой спиной...
Господи мой, не этому ли примеру
следовать наказал Ты в страде земной?
Не потому, что дни его незлобивей,
чем у других, а ночи, быть может, злей,
не потому, что духом своим бедней,
а ремеслом да промыслом нерадивей,
а потому, что в мире больших невзгод
он, как дитя большое, в обидах страшных
не по обидам, а по вине живет;
больше того, врагов возлюбил вчерашних, –
может быть, он, когда выйдет его черед
перед лицом Творца оправдаться в судьях
хоть бы за то, что прожил верблюдом в людях,
в Царство Небесное как человек войдет.

*** * * («Свет мой поздний – моя проходная...»)**

Свет мой поздний – моя проходная,
дай уснуть на твоей раскладушке,
где горячей щекой припадаю,
пропадаю в горячей подушке,
где за дверью, запарившись к ночи,
спит убитый работой рабочий,
а напротив, скучая без денег,
спит убитый бездельем бездельник.
В малом мире, подверженном буре,
в тесной кухне, где слухи да вздохи,
постигаю на собственной шкуре
неустрой коммунальной эпохи:
есть друзья, а в душе недоволен,
одиночеством, может быть, болен;
есть враги, а в душе наболело,
может быть, и вражда надоела.
И однажды наступит расплата,
и тогда, как куска побирухе,
станет совестно доброго взгляда
одинокой и бедной старухи,
и увижу, что нету богатства,
кроме нашего бедного братства,
нету платы иной, кроме хлеба,

нету правды другой, кроме Неба!

1964

Два стихотворения

I

...А в эти дни горели за Посадом
болота, и стояла мгла в Москве,
и скрип травы, желтевшей самосадом,
был жесток при неслышимой листве.
А со степей казахских и каспийских
шел зной – и было небо как в огне.
Душа болела о родных и близких,
о матери я думал, о жене.
Нет, не любовью, видно, а бедою
выстрадываем мы свое родство,
а уж потом любовью, но другою,
не сознающей края своего.
Да что об этом! Жизнью и корнями
мы так срослись со всем, что есть кругом,
что кажется, и почва под ногами –
мы сами, только в образе другом.
Я вижу те места... Теперь там пусто.
Поселок брошен, а погост сгорел.
Могил не стало, и такое чувство,
как будто я вдвойне осиротел.
И где моя судьба в судьбе народной,

и что со мною станется и с ней –
не разберешь: так едок дым болотный!
Земля горит на родине моей...

1972

II

А злоколючий пух чертополоха
кружился над разрытым пустырем,
где в котловане новая эпоха
вбивала рельсы под высотный дом.
И ухал молот по стальной опоре,
а в стороне, когда молчал металл,
за насыпью, как за окопом в поле,
контуженный кузнечик стрекотал.
И я вовек не чувствовал так жгуче,
как горяча непавшая роса,
как тяжела непролитая туча,
на чем стоят железные леса.
Ну что еще, какую тяжесть надо
перетерпеть в судьбу и ремесло,
чтоб всё – от инженерного снаряда
до Божьей твари – смыслом проросло?

1972

*** * * («Черемуха из-под дождя...»)**

Черемуха из-под дождя,
пятилепестковая одурь,
тебя я услышал, поодаль
от ярких рядов проходя.
Черемуха? Боже ты мой!
Откуда? С какого вокзала?
Какая нужда завязала
твой ворох суровой тесьмой?
Зачем ты торчишь на торгу,
как девочка в белой панаме?
Цвела бы себе на поляне,
на майском цыплячем лугу!
Да где там, на торг городской
тебя угораздило тоже.
О, как мы с тобою похожи
своей несуразной тоской!
Я грусти не знал бы весной,
а этой весной и подавно,
когда бы не дух твой так явно,
твой дух не витал надо мной.
Он словно бы в чем-то винил,
и, сколько я шел по Садовой,
черемуховый, черемховый —
всё время вдогонку дразнил...

Пасха на Клязьме

Стояла большая вода.
Она затопила низины,
где таяли редкие льдины
и плыли не зная куда.
Потом добралась до лугов
и дом под холмом захватила,
оставив трубу и стропила
поодаль чужих берегов.
Смеркалось, и низкий туман
тянулся с Оки и Онеги.
Казалось, российские реки,
разлившись, пошли в Иордан.
И только у края земли
зашлось наконец половодье,
мы тоже, Христово отродье,
в забытую церковь пошли.
Поплыли по черной реке,
поднялись по временным сходям,
томимые духом Господним,
дотоле пребывавшим в тоске.
А в храме в дрожаньи огней,
в мерцаньи котомок пасхальных
свидание близких и дальних
читалось ясней и ясней.
И в полночь, лишь колокола

открыли небесные сферы,
я понял: возжаждала веры
душа, не избегшая зла.
И вправду — неисповедим
путь блага в кругах мироздания,
хотя суета всепознания
и правила веком моим.
Но я, сознавая предел,
провидел иную свободу,
покуда вслед крестному ходу
шел в ночь и на свечи глядел.
И чудо свершилось сполна:
к рассвету или воскресенью
увидели новую землю
и — ахнув — узнали: весна!
И спала вода, и траву
покрыла белесая пленка,
как мокрую кожу теленка,
рожденного в темном хлеву.
И вот уже вниз по реке,
по взгорьям и падам весенним —
шла Пасха застольным весельем
со сдобной ковригой в руке.
И день, освященный впотьмах,
светился во славу творенья,
и радостно, как Откровенье,
горел поцелуй на губах!

*** * * («Нет ничего ужасней вырожденья!...»)**

Нет ничего ужасней вырожденья!
Я помню, как вблизи нагроможденья
развалин и пещер Чуфут-Кале,
внизу, на дне гранитного колодца,
темнел приют, похожий на уродца
или на склеп, придавленный к земле.
Была весна, но не было бесплодной
ее дыханья. Словно в преисподней,
в ущелье острый чад стоял столбом.
Был замкнут горизонт: там прел свинарник,
тут отцветал кладбищенский кустарник,
а между ними инвалидный дом
дымил окрест. Он был кирпичной кладки,
хотя, казалось, плод иной догадки,
матерьялизовавшийся фантом.
И я подумал: вот изнанка жизни,
какая нам тщета в степной отчизне?
Пройдут года, и мы как дым сойдем.
Как если бы, забвением казимы,
аланы, печенеги, караимы,
всем миром снявшись, бросили очаг —
так пусто тут... По ком, Иеремия,
твой плач, когда в мозгу лоботомия

и сыплется душа как известняк...
Сказать не скажешь... Встретишь эти лица –
в них, кажется, пустыня шевелится.
О, задержись над каменной тропой.
А срок придет расплачиваться кровью –
не приведи, Господь, под эту кровлю,
под этот кров с дымящею трубой!

1966

*** * * («Пусть те, кого оставил Бог...»)**

Пусть те, кого оставил Бог,
цветут и пыжятся в гордыне,
пускай бобы у них как дыни,
где у других – сухой горох;
пускай в кольчугах из наград
бряцают золотом латунным,
пускай в Совете многотупом
на них и шапки не горят;
пускай берут за семерых,
пусть сам-десять гребут лопатой,
пусть не уступят и десятой,
да не осудим их – пусть их!
Но тот, кто тянет на горбу
свою недолю – и выносит,
кого косою неправда косит,
а он лишь закусил губу;
кто нищ, бездомен и гоним,
он, прах гребущий по дорогам,
как Иов, не оставлен Богом,
но ревностно возлюблен им.

Повествование о Курбском

Кладу перст на уста, удивляюсь и плачу.

Еще Полоцк дымился от крови и смрада,
еще дым коромыслом стоял в Слободе,
еще царь домогался злодейств и разврата,
а изменник царев, как на Страшном суде,
уже смелую трость наострил на тирана:
– Аз воздам! – и пришпорил язвительный слог,
и на угольях, дабы озлить Иоанна,
как на адском огне, пламя мести зажег.
О, так вспыхнула речь, так обрушилось слово,
что за словом открылся горящий пролет,
где одни головешки чернеют багрово
да последняя голь на избитье встает.
Вот он, волчий простор! Несть людей да людишек,
но безлюдье гнетет, как в ногайских степях:
тот испанский сапог натянул – аж не дышит,
этот русский надел – ан и тот на гвоздях!
Всё остро – нет спасенья от пагуб и пыток,
всё острее тоска, и бесславье, и тьма,
а острее всего – это малый избыток
оскорбленной души и больного ума.
Чем же, как не изменой, воздать за тиранство,
если тот, кто тебя на измену обрек,
государевым гневом казня государство,

сам отступник, добро возводящий в порок?
Но да будет тирану ответное мщенье
и да будет отступнику равный ответ:
чем же, как не презреньем, воздать за мученья,
за мучительства, коим названия нет?
Ибо кратно воздастся за помыслы наши
в царстве *том*. Я испил чашу слез и стыда.
А тебе, потонувшему в сквернах, из чаши
пить да пить, да не выпить ее никогда.
А тебе, говорю, потонувшему в сквернах, –
слышишь звон по церквам, он сильней и сильней –
за невинно замученных и убиенных
быть позором Руси до скончания дней!
Князь глядит, а в лице у него ни кровинки,
и такая зола, что уж легче бы лечь
головой на неравном его поединке,
чем – живым – на бесчестие душу обречь.
Только вздрогнул – взмахнула дурная ворона
опаленным крылом, и указывал взмах –
уповать на чужбину, читать Цицерона,
чтить опальных друзей и развеяться в прах.
А когда отойти, то оттуда услышать,
а когда не услышать, то вспомнить на слух,
как надсадно кричит над литовскою крышей
деревянный резной ярославский петух.

Кончина Ивана

Был знак: крестообразная комета
чертила, рассекая небосклон,
багровый след – и предвещало это
погибель рода и раздор времен.
А царь смердел. Шло воспаление в теле,
зловонье источая, и недуг
сводил с ума: казалось, что смердели
все язвы государства, все вокруг.
Астрологами был уже предсказан
его конец, и трепетал Иван.
Но в совести, изъеденной проказой,
он обещал казнить их за обман,
да и не как-нибудь, а на поджаре.
Но ужас душу стискивал, да так,
что холодело в жилах, и бояре
пугались наущенья, ибо мрак
стоял великий. Слухи по столице
ползли всё глуше, и роптал народ,
и ждали заключенных из темницы,
и по дорогам рыскал всякий сброд,
и ждали новых смут, и потрясений,
и тишины, и мора, и войны...
А на подворье таял день весенний,
и были стаи галочки слышны,
и распушались вербы по-кошачьи,

и юркали между камней ручьи,
как ящерицы... Так или иначе,
Ивану полегчало. Две свечи
на сумерки зажгли. Царь принял ванну
и приказал раскладывать поджар.
– Но день не кончен, – возразил Ивану
боярин Бельский, со свечей нагар
снимая, и к игре придвинул столик.
И что-то у царя зашлось внутри,
прилив свирепства или приступ колик,
он потянулся к королеве, и –
рука упала. Вытаращив бельма,
Иван, глотая воздух, задрожал
и рухнул навзничь... Господи, скудельна
юдоль земная... На одре лежал
в предсмертных корчах, в судорогах адских
раб Божий, Государь Всея Руси,
Великий князь Московский, царь Казанский
и Астраханский, – Господи, спаси
богоотступника! – умом растленный,
упырь на троне, истязавший плоть,
детоубийца, – огненной геенной
за преступленья покарай, Господь!
...И сына звал, не зная разрешенья
от совести. И черным был накрыт.
И сотворил молитву постриженья
над издыхающим митрополит.
И на исход души во всех соборах,
во всех церквах, со всех колоколов

ударили, и запалили порох,
и загудели сорок сороков.
А он был тих. Остекленев, застыли
зрачки его... Но страшен был монах,
почивший в Бозе!.. И глаза закрыли.
И затагнули шелк на зеркалах.

1967; 1969

Superego

I

...и тогда я увидел: распята луна
бледным призраком на крестовине окна.
Тень распятия чернела на белом полу.
Было тихо, но перед иконой в углу,
издавая какой-то воинственный звук,
на невидимой нитке спускался паук.
«Это он, – я весь похолодел, – это он!»
Ужас крови моей – трилобитный дракон!
Гад, который почувствовал временный сдвиг,
из безвременья как привиденье возник
и, быть может, предчувствуя сдвиг временной,
из прапамяти хищно навис надо мной.
Что он думал, убивец? Глазаст и землист,
я лежал, трепеща как осиновый лист.
Я лежал у стены и, прижатый к стене,
знать не знал, что проклятье лежало на мне.
И, как жар из печи, как зола из огня,
я смотрел на него – он смотрел на меня!
Я не смерти боялся, но больше всего –
бесконечности небытия своего.
Я не к жизни тянулся, но всем существом

я хотел утвердиться в бессмертье своем.
Но мучительно мучимый смертной тоской,
я не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой.
Я лишь пальцем попробовал пошевелить,
как почувствовал: дернулась ловчая нить,
и к губам протянулись четыре сосца,
и подобье усмешки подобье лица
исказило, и судорогою свело
студенисто-трясучее тело его.
Я отпрянул — хоть некуда! — и в тот же миг
он неслышно ко мне прикоснулся — и крик
омерзенья потряс меня, словно разряд.
И ударило где-то три раза подряд.
Я очнулся — и долго в холодном поту
с колотящимся сердцем смотрел в темноту...

II

Било три. Ночь была на ущербе. В окне
неизбежность стояла стоймя как конвойный.
Что за мысль тяготилась собою во мне,
я не знал и пугался догадки невольной.
Между тем у противоположной стены
беглый маятник маялся в сумраке спертом.
Были сумерки длинные, как были длинные
списки выбылых при Иоанне Четвертом.

Что-то брезжило — то ли предчувствие зла,
что-то виделось — то ли предвестье распада:
видно, время распалось и юность прошла,
так прошла, что и памяти стало не надо.
Так прошла, что в беспамятстве тучи листвы
неподвижно клубились подавленной мощью,
и, еще не развиднясь, кривая Москвы
уходила куда-то за Марьину Рошу.
И в беспамятстве лета на Новолесной
фонари так тускнели, что делалось ясно:
мое тело — безвольное — не было мной
и душа — малодушная — мне не причастна.
Да и вся моя жизнь, ненавистная мне,
так, казалось, чужда была, как сновиденье:
я лежал у стены и, прижатый к стене,
кожей чувствовал жаркий озноб отчуждения.
Что же это, предвиденье или недуг
тяготились ошибкою неотвратимой?
Или плановый робот — железный паук —
деловито опутывал мир паутиной?
Всё равно! Уже буквица бледным огнем
проступала в окне, словно след на копирке,
и топырился дом наш, стоящий углом
между корпусом «Правды» и зданьем Бутырки.
Всё равно! Всё равно! Ожиданьем труда
занималась душа — и не видела дела.
И гудели — почти по-людски — провода,
но сквозило и в них ощущение предела.
Но всего один сдвиг — и запахнет бедой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.